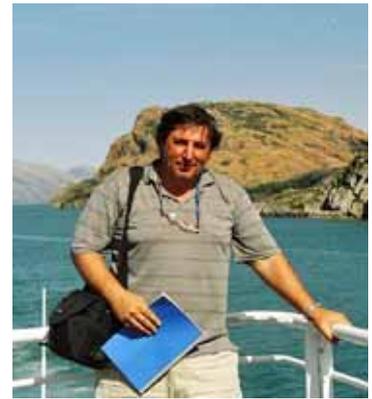


Евгений Плоткин



Дождливая Европа-2005

(Швеция - Норвегия - Дания - Германия - Голландия - Бельгия - Франция)





EUROPE





ДОЖДЛИВАЯ ЕВРОПА-2005

(Швеция – Норвегия – Дания – Германия – Голландия – Бельгия – Франция)

Дождь так лупит по Выборгскому шоссе, как будто хочет содрать с него асфальтовую шкурку. Мы отчаянно опаздываем на паром Турку-Стокгольм, а тут еще и ливень. Скользко, грязно, муторно. Гаишников не видно, ливень – он для всех ливень. Вот когда они кормятся по кюветам да засадам, тогда – да-а, тогда езды нет совсем. И без них тошно на дороге, все как диванные клопы – суетливые, злые, кусачие. Вроде где только ни ездил, а к родным пенатам не привыкнуть. В Каире не движение, а такой добродушный хаос, базар, в Камбодже – бездорожье, пыль и буйволы, но лишь в России ездят как на войне, а на войне – как на войне...



Если за 2 часа границу не проедем – не успеем к парому. Интересно, какая сегодня обстановка на границе, на переходе? "На границе тучи ходят хмуро". А за границей тучи ходят веселее? Бегают там тучи, как барашки-одногодки. Потрутся друг об друга, поме-е-кают, и бегут дальше. И не тучи вовсе – облака. Облака плывут, облака, в Магадан плывут...

Вера ведет машину, моя водительская психика этой дорожной агрессии не выдерживает. Если дураков прибавить к дорогам да помножить на гаишников, то полный привет получается. Следовательно, если полный привет разделить на дураков плюс дороги, то... Ну, такую арифметику мы знаем: советская власть – это коммунизм минус электрификация всей страны...

Ох, опаздываем! Глушак отвалился как раз перед выездом, пока искали место где есть сварка, пока его приваривали, пока то, пока се... Опаздываем, и дождь этот. Глушак работает тихо и благостно, а как ревел с утра, как вопил! Глушак на иврите "экзоз", от греческого "exodus" – исход значит, выход, вторая ветхозаветная Книга. Вот и наш исход этого года шуршит дворниками под проливным дождем. Как там будет впереди, как пройдет поход? А пока – дождь, время бежит, как под-

стреленное, бежит, бежит, несется.

Посольства и пограничные переходы не являются местами, где накапливаются сливки человечества. В аэропорту Ньюарка на каждом столике пограничника написано "You are the face of the nation – Вы лицо нации". Видимо, для того, чтобы никто не сомневался, что у нации есть глаза, уши, зубы и большой рот. Но нам повезло. У пограничника, который, как дядя Степа, работал с этой стороны границы светофором, было усталое и, несмотря на военную форму, вполне человеческое лицо. Я подошел и сказал с чувством: "Помоги, на паром опаздываем". Молчание. Я добавил, что понимаю – ему наше опоздание или неопоздание по барабану, но, может быть, он нас пропустит побыстрее к таможене? Солдат пожевал соломинку и сказал: "Хорошо". Я на радостях протянул ему какие-то рубли, он, даже не взглянув, отказался. Это было чудо и добрый знак.

Финские горячие парни в форме были, как всегда, на высоте: "Можно ли побыстрее?" – "Нет". "Успеем ли мы на паром?"



– "Да". "Значит, можно побыстрее, ведь до парома всего три часа?" – "Побыстрее нельзя, а до парома – четыре часа, в Финляндии время другое"... Один наш приятель рассказывал, что шведы – такие шустрые, такие задорные! Оказалось, что он приехал в Швецию после Финляндии. "Что это за парни там стоят? – Это финны идут"...

Мы все-таки успели – и вот уже стокгольмские шхеры, и солнце встает над островами архипелага. Машина парома медленно пробирается к пирсу, паромы не спешат, паромы подплывают степенно.

В этот раз мы посмотрели в Стокгольме чудесную королевскую резиденцию с коротким, как выстрел, названием Дроттнингхольм. В расположенном на берегу озера месте имеются все аксессуары просвещенной барочной власти – замок, театр и роскошный парк. У входа в замок стоит часовая. Или часовая. Трудно сказать наверняка, органолептически не проверишь, а в форме – все кошки серы. Нашу небольшую дискуссию с обсуждением округлостей мундира существо с ружьем выдержало, не моргнув глазом. "Корнет, вы женщина?!" А бес его знает!.. Когда же мы немного отошли от поста, я почувствовал между лопаток чей-то быстрый взгляд. Точно, женщина!

Парк Дроттнингхольма тоже барочный, строго спланированный в



центральной части, липовые аллеи создают перспективу, дубы добавляют мощь и стать. Много воды, целый водный парк: ручейки, пруды, фонтаны, трубы, каскады. Струи воды льются светящимися плоскостями. Солнце совсем слабое, но если оно появляется, то безошибочно находит цель. От имперской помпезности лишь фонтан в форме короны, да Геракл со здоровенной дубиной и некрупным змеем, весь в водных струях. Дубина очень убедительная, не зря этот фонтан получен в качестве военного трофея еще в XVII веке. Барочный парк переходит в английский ландшафтный, и там уже царство вездесущих канадских гусей: ходят, гогочут, переваливаются, делают свои дела. Темная аллея приводит к знаменитому китайскому павильону. Его фасад украшают рельефы драконов и китайцев – в общем, не новое сочетание. Рептилии все, как один, грудастые, и это действительно неожиданно. Может быть, у скульптора была непростая семейная жизнь?.. Недалеко от павильона находится скульптурная группа, изображающая шведскую семью: мальчик и еще мальчик, оба алебастровые. Финны дали миру сауну и финские сани, норвежцы – скрепку и лосося, а вот шведы – шведскую семью и шведский стол. В сумме и по-

лучится скандинавский вклад в мировой быт и обиход.

В Стокгольме вся наша компания воссоединилась с Маринкой, прилетевшей из столицы научного каббализма – города Цфата, что в Израиле, в Верхней Галилее. Встреча с друзьями – это так замечательно! Фрейд наверняка бы связал-сравнил радость встречи с сексуальным влечением. Ну а тяжесть расставания – "post coitum omne animal triste est" – "после соития всякая тварь грустит". Кстати, в латинском оригинале поговорка на грусти не заканчивается и звучит более оптимистично: "sive gallus et mulier" – "кроме петуха и женщины". Ее приписывают древнему греку Галену, тому самому, что поделил нас всех на холериков, сангвиников, меланхоликов и флегматиков. Мудрый был грек, но не пророк!



Для автомобильных походов число восемь – самое удобное. Оно такое сбалансированное и круглое, как шар. А что бывает в природе совершеннее шара? Только два шара, то есть шестнадцатером тоже неплохо путешествовать. Но это, пожалуй, "замного будет", как

говорят латыши по поводу чего-то большого и неудобного. Нас стало восемь, две машины, и можно было двигаться к Гетеборгу.

Нет ничего лучше, чем сесть в машину, завести мотор, вздохнуть свободно и махнуть куда-нибудь. "Ничего на свете лучше нету..." – пели мы в детстве. Свобода – это такое чувство... куда там Фрейду! Свобода, и нет расписаний, и все дороги равны. Свобода... она умеет искушать и обманывать. Написал расписание поездки – и все, ты раб. Буквы-цифры-часы-километры начинают жить своей жизнью, а ты на них глядишь и сравниваешь себя с ними – а не их с собой. Раб, точно раб! Эх, хорошо-то как ехать, куда глаза глядят! Но мы ехали в Гетеборг – потому что нас там ждали, а когда друзья ждут – это еще лучше, чем самое лучшее.



*Лучше быть сытым, чем голодным,
Лучше жить в мире, чем в злобе,
Лучше быть нужным, чем свободным –
Это я знаю по себе, это я знаю по себе...*

Город Гетеборг стоит на берегу пролива Каттегат, немного не доходя до пролива Скагеррак. Звучит, не правда ли? Произнесите подряд: Гетеборг-Каттегат-Скагеррак, и с ударением, чтобы чувствовались эти кричающие "г-т-г-к-г-с-г-к". Звучит! – и пахнет морем...

*Хорошо идти фрегату
По проливу Каттегату –
Ветер никогда не заплочет паруса!
А в проливе Скагерраке
Волны, скалы, буераки...*

Сам же Гетеборг ничем особенным не примечателен. Не более унылый, чем другие



шведские городки, но и не менее. Средней унылости город, сонный, дождливый, спокойный, размеренный. Но что нам до города, когда там живут Леша и Марина, наши университетские друзья!

С Лешкой Гейнцем мы познакомились на втором курсе матмеха, в 73-м. И сразу поняли друг друга, срезонировали, что ли. Так родился клуб "Искусство", бесконечные литературные вечера, художественные лекции, диспуты, концерты. Все бурлило и клокотало со страшной силой. Почувствовать бы снова ветер тех дней...

*Покорные незримой власти
Воспоминаний над людьми,
Вновь зазвучат Матфея Страсти
И Рерих спустит корабли.*

*Едва отдвинув занавески,
Увидим, словно наяву,
Адмиралтейство, Зимний, Невский
В их вековечном рандеву...*

Студенческие ленинградские ночи... Говорят, Ленинград теперь Санкт-Петербург? Ну ладно, пусть будет, может, кому и легче от этого. Думаю, тем, кому легче, тем и раньше было не тяжело...

Увидев много лет назад в мат-меховском коридоре Лешкино вдохновенное лицо с замечательными глазами и в меру горбатым носом, я сначала ошибся... Присмотрелся – нет,



другой тип лица. Нас, евреев, в 72-м на мат-мехе можно было записывать в "Красную книгу" – как редкий, исчезающе-вымирающий вид. Правда, бесконтрольный отстрел неподходящих абитуриентов не производился, но квоты были выделены жесткие. Кстати, так и возникает идея национальной самоидентификации и идиотская направленность мысли... Лешка же оказался просто потомственным интеллигентом – и, если честно, эта раса встречалась в "Красной Книге" еще реже евреев. В начале XVIII века кто-то из далеких Лешкиных предков приехал из Герма-

нии в Санкт – действительно – Петербург. С тех пор в генеалогическом древе Гейнцев каких только ветвей не прибавилось – шведы, норвежцы, эстонцы, датчане, сербы и еще пол-Европы. Естественно, в двадцатых-тридцатых поубивали половину семьи, но Лешкина бабушка выжила – и это особый рассказ.

Каждый раз, проходя мимо Строгановского дворца, что на углу Мойки и Невского, я испытываю отчетливое давление воспоминаний. Казалось бы, столько лет прошло... Дворец, как хамелеон, менял цвет и содержание, появилась в нем подворотня с шоколадным музеем, появились какие-то безыдейные кафе во дворе, возникли подъезды с кодовыми замками, вселились те, кто за этими замками живут. Мне это все кажется декорацией, а реальность – там, на пятом этаже бокового здания, где коридор, как туннель, в конце которого – ну, что может быть в конце туннеля! – Лешкина квартира, книги, альбомы, портреты – и Лешкина бабушка. Свет должен быть в конце туннеля, свет там и был!

Лешкина бабушка говорила всегда тихо и доброжелательно, и, может быть, даже не совсем по-русски: "Гоша, милый", – обращалась она к Лешкиному папе. "Алеша, милый" – говорила она Леше. Она как бы сошла с воспоминаний Бенуа. Но воспоминания Бенуа были тогда еще недоступны... Однажды Лешка купил в "Букинисте" в Арке Главного Штаба книгу Яремича "Врубель" из серии "Русские художники", я думаю, 1911 года издания. Золотой обрез, тисненый переплет, незнакомые, исчезнувшие после революции, картины, папиросная бумага вкладышей, 20 рублей, наконец. Мы пришли к нему домой, развернули покупку, стали листать – радостные, возбужденные, поглощенные собой и книгой. Вдруг я оглянулся: Лешкина бабушка стояла в комнате и смотрела на нас – твердо, но мягкими глазами. "Мягкие глаза" – это из Библии, там в ивритском оригинале "у Эстер были мягкие глаза". Смотрела так, как будто сейчас – начало века, и мы в Строгановском дворце... Да-а-а... Все отпечаталось и застыло, и образ довлел над реальностью. Но может быть, все было проще, и я все это потом придумал, а тогда она просто зашла к внуку в комнату? Может быть, может быть, кто сейчас может это знать, кроме меня... А я – не знаю...



И вот мы у Лешки с Мариной в Гетеборге, где Леша работает профессором математики, а Маринка продвигает сельхознауку на скандинавской почве. Почва эта какая-то не моя. Что-то в ней есть от родной мне латвийской, но давление жизни меланхоличное и холод-

новатое. Как-то раз мне попался на глаза замечательный рассказ, в котором происходят разные коллизии, связанные с войной, с чувствами, эмоциями, переживаниями, но сильнее всего в нем рефрен, отвечающий за изображение национального скандинавского характера: "лосось сегодня необыкновенно хорош" – "да, лосось хорош" – "я приготовила лосося, ты пробовал?" – "лосось хорош... хороший лосось, спасибо". Конечно это преувеличение, гротеск, но... в каждом гротеске есть доля гротеска.

Как мы встретились! О, как мы встретились, как вкусно ели, как беззаботно пили, как сладко валяли дурака! Дождь накрыл город, и окно покрылось струями, которые мгновенно размыли индустриальный пейзаж. Что там на улице, за окном? За окном – законье, сырой Гетеборг, серые коробки домов. Но это – если знать или если раскрыть окно. А если не знать, то... На подоконнике стояли орхидеи, и отражения их восковых цветков накладывались на импрессионизм пейзажа. Красиво и загадочно. Может, и не Гетеборг там вовсе – Париж, бульвары, играет музыка... А вот и музыка – Лешка берет скрипку. В отличие от меня Лешка музыкален. Но какой-то тяжелой музыкальностью. Просишь его на скрипке сыграть "Чижика-пыжика", а у него получается "Чакона" Баха. Как в известной притче: работал мужик на пулеметном заводе, таскал домой детали, чтобы собрать сыну велосипед, собрал – а у него получился пулемет...



Мы сидим в комнате, за окном дождь, а у нас вино и скрипка. Лешка играет, и я думаю, что не зря он на втором курсе мучил инструмент. Но "Иоганн Себастьян Бах был веселый, толстый человек..." – и вот уже Верочка играет на синтезаторе что-то человеческое, а Лешка, отбросив академическую шелуху, ей подыгрывает. Дождь стучит за окном – а мы поем и пляшем, поскольку дружим уже 30 лет, и не растерялись, не разошлись. Нам легко, и скрипка, и вместе мы – из Тель-Авива, Тюмени, Цфата, Питера, и это только начало отпуска, и можно болтать, не думая: "Маринка, что за странное зеркало у тебя в туалете?" – "На уровне гениталий, в классическом японском стиле!" – "На уровне японских гениталий? Тогда понятно, почему я вижу в нем свои ступни"...

Наутро выползло на свет божий бледное подобие солнца. Квартира больше всего напоминала лежбище котиков. Это было прелестно и очень по-студенчески. На балконе, под мусоропроводом, спали Таня и одна из Марин. Кто же знал, что у шведов мусоропроводы там, где свежее... Леша, потягиваясь, осмотрел квартиру и довольно хмыкнул. Позднее он написал нам в дорогу: "Так жалко, что вы уехали и никто не спит у нас под мусоропроводом. Как было здорово!" "Как жалко, что вы не с нами", – ответил я. "Мы ездили на дачу к родным в Норвегию, – ответил Леша, – лосось там необыкновенно хорош... мы закусывали его земляничкой".

Солнце растаяло, так и не родившись. Пора ехать дальше. Пока мы шли к машинам, за нами увязался мертвецки пьяный швед. Покачиваясь, он что-то забормотал, по-видимому по-шведски. "Was?" – спросил его Леша. Выхлоп у шведа был что надо. "Чего он хочет?" – поинтересовался я. "Он спрашивает, не видали ли мы его БМВ"... Мы сели в машины, и Леша, Марина, швед-алкаш, его БМВ, весь Гетеборг медленно растворились в пелене дождя.





Дорога до Осло напомнила о письме домой африканца, обучающегося в Питере: "Та зима, что зеленая, еще ничего, а вот та, что белая – та просто ужас". Дождь, и между небом и землей расположилась зеленая зима. Очень стыло, но настроение все равно хорошее. Даже Осло не смог его подпортить. Я преувеличиваю, конечно, но все же людям с некрепкой психикой приезжать серым днем в Осло не рекомендуется. Городская крепость выстроена в классическом пакгаузном стиле. К ней ведет аллея, полная печали. Хорошо встретить на ней задумчивую девушку с зонтиком, или слона, или одинокую собаку. Хорошо смотреть, как морось клонит к земле липовые листья. Хорошо ждать в кирпичной арке просвета в облаках. Хорошо, но очень долго. От крепости недалеко до Национальной галереи. В ней два зала Мунка, и это много для одного раза. Или мало для всей жизни. Мунк – он как наркотик, от него хочется бежать, но почему-то все время возвращаешься. К счастью, в галерее прекрасные импрессионисты, в том числе такая незнакомая для нас Берта Моризо. После Мунка они

появляются очень вовремя – символизм импрессионистов гораздо светлее импрессионизма символистов. Это как – "жена друга значительно лучше, чем друг жены"...

Я написал Леше: "Галерея очень сильная". И бесплатная. Пожалуй, она – единственное, что в Норвегии бесплатно. Леша ответил: "Галерея замечательная, замечательная галерея... но музей Мунка лучше". Ну, это в следующий раз. Мунка, как и его друга Стриндберга, лучше принимать в гомеопатических дозах.



После Осло началось преображение природы. Это – как чудо трансфигурации, первое чудо Христа. Были одежды будничные – стали сияющие. Чудо происходило недалеко от Назарета, на горе Тавор. Отсюда и возникло слово "фаворит". Сегодня мы – фавориты, мы присутствуем при преображении природы. Будничность Швеции и сельский урбанизм Осло остаются позади, природа становится все более красивой. Вот и Хеддал, и его "ставкирхе" – деревянная церковь. Сразу же вспомнился прошлый год, средняя Норвегия, церковь в Урнесе. Темные доски, резные орнаменты, запах смолы, зеленая трава, кладбищенские плиты, деревянные гвозди, высокое синее небо, очень, очень много воздуха – безумно много воздуха. Странное, пьянящее чувство. Год его не было, ровно год, с прошлой норвежской поездки, и вот снова появилось. Где же оно лежало весь этот год, где зимовало, чего ждало? А если бы мы не приехали в Хеддал, если бы поехали купаться на Кипр, к примеру? Тогда что? Ушло бы чувство, не дождавшись? Обидно... Немного позади хеддалской церкви находится нечто вроде этнографического музея. Самое лучшее в нем – букет васильков с ромашками, на деревянном столе, в пол-литровой банке, под открытым небом. Вот так бы сидел и смотрел, туда-сюда, сюда-туда – гармония. А если бы не комары и мысли, то и идиллия.



Для трехдневной стоянки мы выбрали место неподалеку от маяка Линдеснес. Этот маяк – самая южная точка Норвегии, конец земли, конец и начало всех начал. Маяки придуманы по разным причинам, и давать свет – всего лишь одна из них.

Для трехдневной стоянки мы выбрали место неподалеку от маяка Линдеснес. Этот маяк – самая южная точка Норвегии, конец земли, конец и начало всех начал. Маяки придуманы по разным причинам, и давать свет – всего лишь одна из них.

Проход к линдеснескому маяку платный – ведь маяк самый старый в Норвегии. Парень, продающий билеты, сказал нам: "Подождите девяти вечера, я уйду..." Забавно, мы ждали пятнадцать минут, он нас не пускал, но и денег не брал, ровно в девять закрыл будку и ушел – все по правилам, но с сохранением человеческого лица. Самая южная точка Норвегии мало отличается от самой северной, хотя и широта другая, и море, да и люди. Концы и начала земли сходятся и похожи друг на друга, даже если между ними две с половиной тысячи километров. Дыхания Гольфстрима у Линдеснеса не чувствовалось, море было не менее суровым, чем на Лафотенских островах.



Камни около маяка полого уходят под воду, как степенные и слегка постаревшие ныряльщики. На них почти нет растительности, лишь вереск, вьюнок, шикша и разные стланики. Скалы усеяны панцирями крабов и плавниками каракатиц. Волна, отступая, оставляет на них желтые пятна больших северных медуз. Неподдалеку от маяка стоит памятник – на траверсе Линдеснеса бойцы Сопротивления потопили немецкий военный корабль. В нем было восемь человек команды и около трех тысяч военнопленных...

Найти домик на южном норвежском берегу не просто – здесь все-таки юг, почти Ривьера, довольно много отдыхающих. Увидев одно из объявлений о том, что сдается дом, мы позвонили. Трубку взяла Хельга: "Дом есть, но вам, наверное, не подойдет, в нем нет электричества". "Мы все же хотели бы посмотреть". "О'кей, поезжайте к берегу, ключ под ковриком".

Узкая дорожка вела в еще более узкую бухту. Уже неплохо. В Норвегии многие домики стоят в бухтах, к которым нет дорог, даже троп нормальных нет, так как дорога всегда одна – море. Зайдя в домик, мы попали в рай. Или в прошлый век. Разница, в сущности, невелика, если смотреть из века нынешнего. В длинной комнате стояли деревянные стулья, столы, люстры, бра. Лежали миски, вилки, ложки. Как в сказке про Машу и трех медведей. На стенах висели деревянные колотушки, чтобы глушить рыбу, деревянные багры, чтобы эту рыбу подтаскивать, деревянные гарпуны и стеклянные поплавки. Света действительно не было. Человек, заходя в любую темную комнату, инстинктивно тянется к выключателю. А его нет, потому что – нет, не изобрели еще электричество. Основной свет дает люстра на шесть свечей. Не лампочка на шестьдесят, а люстра на шесть. Но какое удовольствие взять спичку и зажечь свечи не для интима, а для света! И канделябры со свечами... Обычно человек знает про канделябры лишь старинный преферансный анекдот, в котором судья кричит: "Так за это же канделябрами!.." Оказывается, канделябры существуют на самом деле и предназначены для того, чтобы давать свет.



Вопрос был решен немедленно, отсутствие света и туалет на улице типа "ведро" никого не испугали, а скорее вдохновили. Мы позвонили Хельге и сказали: "Да". Хельга была крайне изумлена: "Вы уверены?" – "Да!" "Вы видели туалет?" – "Да". "Ну, тогда мы с мужем сейчас приедем". Она оказалась

классной теткой – быстрая, подвижная как ртуть, веселая. Сейчас на пенсии, трое внуков, зимой, как принято у норвежцев, проводит три месяца в Испании. Хельга родилась на одном из островов, в школу ездила с детства на гребной лодке, а в десять лет пересела на моторную. Этот домик дает ей летом карманные деньги на разные мелочи. При домике есть катер, на катере – эхолот и мощный мотор "Ямаха". Катер сдает ее муж, эти деньги – на его мелкие удовольствия. Как сказала Хельга, ей на нитки, ему на табак.



Вот так мы стали рыбаками. Если уж становиться рыбаками, то в Норвегии. В один из дней я заехал в норвежский рыбацкий поселок. Дом с верандой и видом на море, "Мерседес" в открытом гараже, кругом сети и розы, розы и сети, причем сети пахнут розами, а не наоборот. Видно, роз все же больше. Выходит хозяйка с внуками, она говорит по-норвежски, я по-английски. Спрашиваю, можно ли купить крабов. "Краббег?" "Да, краббег". "Иа, йес, можно, но завтра, они в море". "Кто – крабы в море?" "Йа – море",

– и она машет рукой в синюю даль. "Да, в море, понятно, а сколько они стоят?" "А сколько надо краббег?" "Штук восемь, наверное". "Не знаю, будет ли восемь, они еще в море, утром". Крабы в море, конечно, а что утром? "Утром вернется муж из Дании, он еще в Дании, он вернется, и я узнаю, привезет ли он крабов". "А что, он может не привезти?" "Конечно, может, он же ловит рыбу, а не крабов. Хотите, я ему позвоню?" "Куда?" "В Данию". Я вспомнил рыболовецкий колхоз на Ладоге, где пили все – от грудных детей до местных аксакалов неопределенного возраста, и стало обидно за державу. Захотелось спросить, а что пьет ее муж? Но я лишь сказал – спасибо, я к вам завтра обязательно заеду за "краббег". Рыбачка приветливо махнула рукой и занялась внуками...

В первый раз мы идем на катере не во фьорд, а в открытое море. "Ямаха" мурлычет, как поет, и заводится, как еврейская мама – с пол-оборота. Мимо проплывают скалы, а впереди – море, качка, камни и колючий ветер в морду.

*Мне бы ветер, мне бы качку –
Ла-ла-ла-ла!
Синеглазую рыбачку –
Ла-ла-ла-ла!
Мне бы бросить этот берег
И матросить наяву...
Вот ведь блажь!
А сердце верит,
Что и вправду уплыву...*

Синеглазая рыбачка... неплохо бы, но уж очень прямолинейно. Есть у Сухарева другое "рыбачье" стихотворение:

*Судьба нас кинет вверх,
А мы умом раскинем.
Судьба нас кинет вниз,
А мы закинем трал.
Дела у нас такие:
То нары, то аврал.*

Рыбалка была в меру удачной. Впервые ловилась серебристая хищная рыба, похожая на саблю или на хлыст. Рыба атаковала блесну, как личного врага, лодка ка-



чалась, спиннинг гнулся – что еще надо для счастья!.. А вот треска не брала. Пикша, макрель, сайда – это пожалуйста, а треска в основном бойкотировала нашу рыбалку. Для полного счастья именно это и нужно – чтобы, как по Райкину, чего-то не хватало.

Около нашего неэлектрифицированного домика жила лебединая пара. Стоит выйти к воде – и они уже плывут, как два длинношеих катера, полные решимости получить кусочек булочки. Подплывают, лебедь злобно шипит, отгоняя лебедиху. Она отплывает, слегка раздвинув крылья и роняя белые перья. Перья плывут к морю, подгоняемые ветром. В их движении столько романтики – Одетта, Одиллия... А все из-за еды.

Норвежские морские закаты – отдельная тема. Почти все домики выходят на закат, и лишь самые странные из них выходят на восход. Такая асимметрия между востоком и западом связана с тем, что море в Норвегии, как правило, слева – там, где запад. А если запад справа, то и море справа. Так и бегают они друг за другом, море за западом, а запад за морем. Ну, а где запад, там и солнце садится. Закаты не повторяются никогда, это – аксиома, но повторяются чувства, вызываемые ими. Закаты в Линдеснесе отличались необыкновенным синим цветом. Что-то из Рокуэлла Кента или из Рериха. Я фотографировал их при свете свечей, и мне казалось, что пастельная синева низкого солнца переходит на экран аппарата. Но потом так случилось, что эти кадры пропали. Наверное, не стоит о них жалеть. Не стоит, конечно, а не получается. Ведь со временем стереотипы замещают реально испытанные чувства. Как их сохранить, как реанимировать? Свечи и закат – это квинтэссенция легкой меланхолии, приглушенной страсти, скрытых чувств. Свеча – она и есть свеча, не костер, не прожектор, не солнце. Горящая свеча грустит так же, как грустит мелкий дождь о деревянную крышу. Но не помню я грусти! Помню – деревянная крыша над головой, дождь накрапывает, свечи горят и закат синееет. И снова дождь, и снова свечи, и море, и бутылка, и не одна...



Настоящим ценителям Норвегии полагается подняться на Прејкестолен. Это столовая гора над Люсефьордом, 600-метровый отвес, с которого открывается одна из самых знаменитых норвежских панорам. На мой взгляд, чтобы оценить красоту Прејкестолена, надо быть либо горным орлом, либо умалишенным – поскольку страшно очень, невероятно страшно. С другой стороны, некоторым доставляют удовольствие прыжки с парашюта или вид с чикагского небоскреба Сиерс. Все мы разные, и попробуйте объяснить страдающему клаустрофобией, как классно жить в комнате без окон – так комфортно, так компактно, так спокойно... Но символ есть символ, и люди идут наверх. На Прејкестолен ведет изнурительный



подъем по красивому лесу. Генетически узкозадые и худые норвежцы поднимаются без всяких проблем. Генетика – тонкая штука. Почему-то к генетически толстым относятся негативно, а к генетически лысым – с пониманием. Во всяком случае, никто не говорит им, что могли бы лучше ухаживать за волосами, чтобы вернуть былую шерстистость на голове. А вот генетически толстым все время советуют, как стать стройными и узкозадыми – им же просто нужно сочувствие, как собачонке под дождем.

Девяносто процентов времени

вершина Прејкестолен покрыта облаками, так что вида на фьорд нет никакого. Может,

это и к лучшему: когда не видно дальше трех метров, есть надежда, что ты все еще находишься на плоскости, а не на краю неизвестно чего. В оставшееся время нужно резко сфотографировать незабываемую панораму, проследить, все ли в сборе, и, помолясь, двинуться на спуск. Страх отпускает где-то минут через двадцать, а еще через двадцать становится по-настоящему хорошо, как после сданного экзамена или вырванного зуба.

От Прейкестолена недалеко морем до Ставангера, а оттуда уже идет паром на Данию. Паром урчит, оставляя за собой полосу вспененной воды. На горизонте горы, покрытые фестонами кучевых облаков. Такое впечатление, что кто-то намылил вершины, сейчас придет брадобрей, и чик-чирик – прощайте, лесистые горы. Пена вверху, пена внизу, посередине парят чайки, высматривая контуженную рыбу. А рыбы не видно, и их молчаливый полет полон разочарования.

Дания возникла на горизонте под утро, сонная и домашняя, как персидская кошка. Сейчас в стране все настолько тихо и умиротворенно, что невозможно представить ее воинственное прошлое. А ведь когда-то суровые норвеги, организованные шведы и задумчивые финны были в вассальной зависимости от Дании. Единственное место, где еще бурлят страсти, это копенгагенская Христианиа – последний оплот одичавших хиппи шестидесятых. Иногда мастодонтов хипповского движения можно встретить в самых разных уголках мира. Несколько лет назад в аэропорту Парижа я заметил парочку, наверняка перешедшую на седьмой десяток. У мужчины на голове хвостик, причем волос уже мало, но хвостик – это святое. Даже когда волос у него совсем не останется, хвостик будет незримо присутствовать, заменяя нимб и пионерский галстук одновременно. Уверен, выйди сейчас на Невский – там масса людей с пионерским галстуком или комсомольским значком на груди, надо только взглянуть как следует. Встречаются и люди с наганами, да и бронепоезд на запасном пути просматривается... Жена хвостатого парижанина была вся в фенечках. Свободные полотняные штаны символизировали свободу духовную. Ее глаза были полны заботы о своем муже. Скорее всего, они обычные благополучные французы, вполне возможно, что интеллектуалы, но вот собрались в отпуск – и их "алтер эго" потребовало соответствующего антуража. Спросить бы у них, как там было на парижских баррикадах в Сорбонне в 64-м, да неудобно.

Христианиа необыкновенно грязная и отталкивающая. Вудстоком и не пахнет, а пахнет неталантливым бездельем и мусором. Полицейские толкутся по краям зоны, присматривая, как бы чего не вышло. Туристы переступают вполне видимую границу – и скорее назад, к цивилизации, т.е. к полицейским. Видимо, инстинктивно чувствуют, что внутри Христиании черти водятся. Но это и привлекает. Высунул мордочку в чужой мир, глазами повращал – "У-уух, это надо же..." – и шмыг обратно, к колбасе и порядку. Я их понимаю отлично, сам такой же.

Данию очень удобно смотреть, остановившись в каком-либо кемпинге у моря и делая из него недалекие "радиалки". Все



близко, все под рукой. Мы сняли домики километрах в двадцати от Эльсинора и на следующий день отправились к замку датского принца. Я не знаю, почему Шекспир выбрал этот таможенный замок для своей трагедии. Может быть, старинная легенда о короле под замком, который до поры спит, но в нужный момент выйдет и порубает врагов в капусту, навеяла ему одну из основных мизансцен.

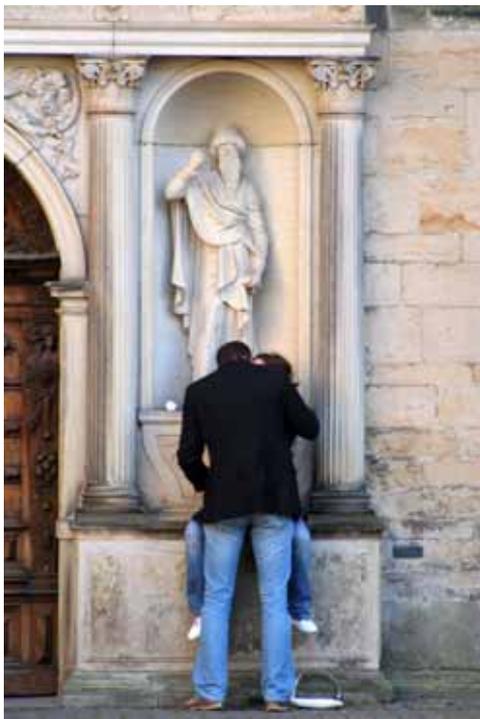
Учеников английских школ шестидесятых можно было отличить по простому тесту: разбуди любого среди ночи – он продекламирует наизусть монолог Гамлета. Английский при этом знать необязательно, но монолог – это дело чести. "To be or not to be?.." Следующее близкое свидание с Шекспиром состоялось на мат-мехе. "Методы вычислений" преподавал профессор С.М. Лозинский. Он был известен тем, что иногда выстраивал студентов перед лекцией в шеренгу и делал переключку – как в лагере. А еще тем, что был сыном поэта и переводчика М. Лозинского:

*Быть или не быть – таков вопрос:
Что благородней духом – покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством?*

И вот новая, почти личная, встреча. Замок оказался очень даже симпатичным. Добротные бастионы, пушки, ров с лебедями, острый запах близкого моря, замечательный внутренний двор, и сверх программы – целующаяся парочка. Не похоже, что их наняли для туристов, просто приятно, наверное, целоваться в Эльсиноре. Точнее, и в Эльсиноре тоже... Интересно, как же Шекспир, ни разу не бывавший в Дании, прочувствовал все это? Или все проще:

*Больной Шекспир работал с увлечением,
Он делал деньги, затянув ремень,
И получили люди развлечение,
А автор – белый хлеб на чёрный день.*

Сам город Эльсинор запомнился брусчаткой. Идешь по крупным притертым камням, как по дороге детства. Где сейчас в Риге этот диабаз сохранился? Только в памяти. А тут жив пока.



Недалеко от Эльсинора находится Фреденсборг – одна из барочных резиденций датских королей. Задний фасад замка украшают деревья, похожие на шапки гвардейцев, передний – гвардейцы, похожие на деревья. К замку ведет типичная датская дорога, неспешная и очень качественная. За замком начинается чудесный парк: олени, лотосы, скульптуры, вид на озеро. Что-то есть в этом от национального характера. Хороший характер, всем бы такой.

Рядом с Фреденсборгом расположен значительно более знаменитый Фредериксборг. Тоже королевский замок, тут все королевское, как у маркиза Карабаса. Замок выполнен в стиле северного Ренессанса, хотя, на мой непросвещенный взгляд, барокко в нем предостаточно. Это, конечно, самый красивый из всех датских замков, самый обаятельный. Даже красно-желтый кирпич фасадов не наводит на мысли о тюрьме или складе, наоборот, он

прекрасно гармонирует с зеленой озерной водой. То, что Фредериксборг долго был королевской резиденцией, наложило на него печать монументальности. Здесь, в капелле, короновались датские короли. Потом они переехали в более провинциальный Фреденсборг, оставив за Фредериксборгом должность королевского музея.



Оттягивая встречу с суетой Копенгагена, мы заехали вечером в Роскильде. Это совсем другой мир, где еще живы рудименты языческого прошлого. К XVI веку Роскильде уже перестал быть столицей Дании, уступив место в истории Копенгагену. Вечером, на закате, в городе очень тихо, и призраки свирепых датчан движутся к фьорду, где стоит пятерка отлично реставрированных драккаров. Сейчас тут музей, но можно ведь и позабыть об этом. Из-за фьорда обычно приходили отморозенные норвежские викинги, вот тогда-то и началось кино. В результате Роскильде стал столицей объединенных Дании и Норвегии, было это при Харальде Синезубом, отце Свена Вилобородого.

Кто сейчас помнит Харальда Синезубого? Зато все знают о системе "Bluetooth", названной в его честь. Харальд написал на камне рунами, что он покорил Норвегию, камень сохранился до наших дней, но никто не знает, что в точности он покорил. Как это типично для истории, тем более для современной. Где-то в это же время даны колонизировали Гренландию, а Эрик Рыжий открыл Америку. Викинги были простыми и открытыми по натуре людьми и давали прозвища своим боссам по принципу "что вижу, о том и пою". С развитием общества все стало менее прямолинейным, и ритуальная кличка "товарищ Сталин, Отец Народов" звучит гораздо страшнее, чем конунг "Сталин, Рябое Лицо". А викинги, тем временем, расплескали свою пассионарность к XII веку. И куда делся этот дикий и кровожадный народ, куда ушел темперамент? Может быть, христианство виновато? Усреднило, поделило и раздало всем сестрам по серьгам?..

Над Роскильде высится двуглавый Домский Собор, построенный из неизменного красного кирпича. Его необычные эклектичные формы доминируют над пустой и бесшумной площадью. Громадный объем нефа приземлен капеллами в виде шлемов. В этом суровом контексте совершенно непредсказуемо возникает барочный фронто́н, похожий на морщину на благородном лице собора. Или на грим. Грим ведь накладывают не только люди, время занимается тем же, только более умело.

Копенгаген, как и все столицы, несет отпечаток ответственности за страну. Поэтому определенного чувства Копенгаген не вызвал. Чаще всего столицы похожи, как троюродные братья-сестры: много хороших музеев, много машин, много спешащих лиц, много позеленевших людей на постаментах, всего много – пропорционально величине страны. Это чувство спровоцировано дилетантством от туризма, но оно существует. Может быть, за три-четыре дня можно ощутить Копенгаген как Город, в котором есть то, чего нет больше нигде. Или как Город, в котором есть то, что и везде, только больше, лучше, красивее. А за день-два в Копенгагене понимаешь лишь, что Росенборг – это римейк Фредериксборга, только не посреди озер и природы, а посреди ас-



фальта и беспомощного парка; что Амалияборг – симпатичный и притягательный, но Мраморная церковь в его створе обладает отрицательной энергией; что каналы Нихавна похожи своей атмосферой на луч света, залетевший в Данию откуда-то с юга. И лишь Русалочки нет нигде – и никогда нигде ничего подобного не будет. Все, кроме нее – очень симпатично, очень добротное, иногда очень красиво, но не возвышенно. Может, это и верно: зачем нам столько возвышенного? Вот от Питера зачастую чувство возвышенное, но уж никак не добротное...

Остров Фюн мы осматривали из кемпинга Ниборг, который находится на берегу, у самого основания длиннущего моста через пролив Большой Белт. Если бы мост не был таким дорогим, то говорили бы о нем "длинный и красивый" вместо "длинный и дорогой". По



слухам, на искусственный островок между двумя частями моста лет сто назад отправляли проституток на общественные работы. Красивая легенда, просто тема для романа. Золя наверняка сделал бы из этого социальную драму, Достоевский – трагедию, а Хмелевская – иронический детектив а-ля "девушка без образования ищет работу по специальности". Кстати, в массе своей датчанки – очень даже симпатичные.

Фюн – это прежде всего Оденсе, а Оденсе – это город Г.Х. Андерсена. Не знаю, заслуга ли это Ганса Христиана,

но настроение в Оденсе отличное, а лица людей – спокойные. Хороший город – чистый, светлый, приятный. Мы зашли перекусить в какой-то турецкий буфет в центре города. Понять, что есть что в харчевне, было непросто. Вдруг одна из весело щебетавших девушек сказала на чистом русском: "Вам помочь?". Спрашиваю: Откуда Вы?" – "Из Москвы". Оказалось, что зовут ее Маша, то есть Мари, что она здесь уже 8 лет из своих 22. "А как сюда попали?" Можно и не спрашивать, поскольку в Скандинавии ответ стандартный: "Мама вышла замуж". Все-таки есть чем гордиться российскому народу, и не только нефтегаз ему экспортировать. Десятилетний сын нашей приятельницы зашел в кондитерскую на Васильевском, посмотрел на сочные ромовые бабы и спросил: "А у Вас бабы свежие?" "Свежие, у нас бабы всегда свежие", – ответила продавщица. Как она была права!.. "Вам нравится Оденсе?" – интересуюсь у Маши-Мари. "О, это прекрасный город!" – и в этом Мари права не меньше продавщицы с Васильевского.

В Оденсе Андерсен повсюду. Ну и что? Ну и ничего! Правильно – когда везде Андерсен, а не Леонид Ильич, к примеру, или какой-нибудь местный общественный деятель. Правильно – когда реставрируются дома двухсотлетней давности и на них пишут: "Здесь жил великий сказочник Ганс Христиан Андерсен". Правильно – когда в воскресный день ведут в музей Андерсена, а не в "большой, просторный, светлый дом, похожий на дворец". Однажды после экскурсии к Гробу Господню в Иерусалиме один знакомый сказал: "Здорово они нашего Христа раскрути-



ли!" Оставив в стороне высказывание типа "знаешь, Вань, ихние доллары точь-в-точь как наши баксы", я подумал, что в общем-то, в самом деле – здорово, если уж кого и раскручивать, то Христос того заслуживает. И Андерсен – тоже! Напротив музея Андерсена дети лет семи-восьми разучивали какую-то пьесу. Я фотографировал лица: что ни мальчик – то Кай, что ни девочка – то Герда. Не хватало только лапландского оленя.



Неподалеку от одного из домов Андерсена находится замечательная улочка, на ней неповторимые деревянные дома с чисто оштукатуренными фасадами. Может, эти

дома и не деревянные вовсе, а кирпичные с деревянными перекрытиями, но в перекрытиях наверняка живут семейства жуков-древоточцев, не истребленные за столетия самыми изощренными морилками. Дома накренились немного в сторону улицы, как будто долго сидели, покуривая и посапывая, а сейчас поднимаются и кряхтят, разгибаясь.



Около одного из домов стоит чугунная телега, а внутри, за темными стеклами, находится необыкновенный магазин... Не правда ли, похоже на начало сказки Андерсена? На деревянных дверях магазина висят плетенные датские башмаки последнего размера, а над ними загадочная вывеска "Kramboden Aaben". В Америке такой магазин называли бы "Past Time", или "Все из прошлого". А здесь – "Kramboden Aaben". Что бы это значило? Заходим, кругом полумрак и приятный запах музейной пыли. Но это не музей, здесь можно и нужно трогать руками, здесь все старое, а если и новое, то выглядит как старое, а если и не выглядит, то по духу подходит. Как будто сотню блошиных рынков по-

мыли, упорядочили и собрали в одной комнате. Чего здесь только нет: керамические кувшины, керосиновые светильники, ступки-пестики, кисти, стеклянные колбы, нитки, шпагаты, связки ключей, ножницы, вилки-ложки-блюдечки-тарелочки, плетеные корзины, настольные лампы, инструменты, латунь-чугун-медь-бронза-дерево, чернильницы, графины, кастрюли, сковородки, пуговицы-коробочки, и еще масса всего интересного и неожиданного. А в довершение – четыре подвешенных за крючки деда Мороза в окне-витрине. У нас в школе была раздевалка-подвал с клетками для каждого класса, в клетках – крючки: для старшеклассников повыше, для малышей – пониже. Будучи в восьмом классе, зашел я как-то в раздевалку, где склонный к черному юмору Жора Воробьев развесил первоклашек за воротники костюмов по крючкам и, обходя их, приговаривал: "На-



до учиться, надо учиться". Первоклашки семенили в воздухе ногами и выворачивались, а Жора строго спрашивал каждого: "Где твой дневник? Покажи!" Деды Морозы были очень похожи на тех первоклашек. Может, спросить их о дневниках? По-моему, было бы очень по-андерсоновски, если бы они ответили...

...По Оденсе хотелось гулять еще и еще. И на досуге перечитать Андерсена. Однажды он под настроение написал: "В Дании люди холодны и рассудочны, а климат еще хуже". Ему, конечно, виднее, но после Оденсе мне показалось, что не все так безрадостно, хоть и уезжали мы в ветер и дождь, под гудение ветряков. А "Kramboden Aaben" переводится примерно так: "Качественные товары. Открыто".

С Данией граничит немецкая земля Шлезвиг-Гольштейн. Она и была нашей следующей целью. По мере продвижения на юг от Дании золотистые поля сменялись зелеными, а потом уступали место пастбищам. Шел мелкий противный дождь. С ним отлично гармонировал безрадостный пейзаж комариных пустошей. По-английски все это зовется "маршами", т.е. болотистыми равнинами. Слово имеет латинские корни: "марши" – дикие земли на



окраинах империи, где маршировали римские легионы. А теперь здесь проходит наш "МАРШрут".

В Германии что-то неуловимо изменяется в воздухе. Дания, как ни странно, выглядит мягче, спокойнее, свободнее. Германия – жестче. В самом городе Шлезвиге хороший собор Св. Петра, все остальное не слишком вдохновляет. Рядом замок, ровесник Петербурга. Он тоже не греет душу. Не зря шлезвиг-гольштинские принцессы стремились в Северную столицу: помимо трона, там и климат был знакомый.

Гораздо приятнее Шлезвига городок Хусум, один из рудиментов свободной республики Фрисландия. Была такая республика на землях древних фризов, была-была, а потом ее сожрали с концами. Естественный отбор по Дарвину применительно к социуму. А городки фризов сохранились, и есть в них своя притягательность. В Хусуме красивейшая гавань, очень настоящая и аутентичная, а в центре стоит городской скульптурный символ – девушка с веслом.

Из кемпинга под Хусумом открывается впечатляющий вид на полуморе-полусушу. Отлив до горизонта и даже дальше. Видны столбики для ловли креветок, обрывки сетей, ил, глина, песок. Все пребывает в состоянии мрачноватой готовности к утреннему приливу. Колючий жесткий ветер играет на дамбах и теребит пегие травы. Кругом царство упитанных овец. Но почему-то у них свиные морды. Наверное, за неимением волков в овечьи шкуры оделись поросята – так, по крайней мере, теплее. На всех асфальтовых дорожках бесконечные надписи "Ахтунг! Нельзя делать..." – и дальше список из 40 наименований: скакать на лошадях, разводить костры, ставить палатки, ходить не по тропам. И что-то отдельное написано для овец, на овечьем языке. С утра показалось солнце, зато не стало земли – прилив! Однако, к морю не пробиться, перед ним сплошные каналы и овцы. Лишь к пляжу ведет дорожка ("Ахтунг" – дорожка ведет к пляжу...). На пляже стоят кабинки для загорающих, они же – кабинки от ветра. В общем, "мороз и солнце, день чудесный". А день и в самом деле погожий, и природа так необычна, что манит не хуже итальянских райских кущей. Еще день-два по Фрисландии были бы в самый раз. Но ни в коем случае не больше.



Для бешеной собаки сто верст не крюк, от Фрисландии рукой подать до Бремена. Бывший вольный ганзейский город встретил неприветливой темнотой незнакомых улиц. Все незнакомые города ночью становятся вдвое более незнакомыми – ночь располагает к интиму, а какой интим после длинной дороги, да с незнакомцами, да без стакана? Муторно было на душе, муторно и тоскливо. Но нас ждали дядя Вова и тетя Валя. Какое удовольствие называть кого-то тетей и дядей! Ощущаешь спокойствие, тепло и запах картошечки с укропом. На дверях в квартире у дяди Вовы и тети Вали красовалось: "Полундра, спасайся кто может, к нам едет взвод очумелых гостей". Сразу стало хорошо. В туалете обнаружился плакат: "Сюда уходит кулинарное искусство т. Вали". Стало еще лучше. Осмотрев восемь усталых рож, дядя Вова сказал: "Имеется две кровати, остальные будут вести половую жизнь"...



Наутро мы отправились с ним гулять по Бремену. Собственно, живут они не в Бремене, а в Фегезаке. Когда-то это был отдельный портовый городок. Считается что его название появилось в XV веке и связано с местным пабом "Thom Fegersacke". Но мне больше нравится перевод слова "фегезак" как "выпотрошенный карман" – в местных тавернах и кабачках оттягивались возвратившиеся из плаваний матросы, и память тех веселых дней до сих пор бродит по набережной Везера.

Кроме того, с этих набережных русские люди ловят здоровенных лещей и судаков. Дядя Вова любит кашу, джаз и тютю Валю. После переезда в Германию он почувствовал, что любит еще и рыбалку. Вот так – живет себе человек семьдесят лет и не знает, что он в душе рыбак. Рыба в Везере непуганая и клюет отчаянно. Если бы не высокоморальные немецкие рыболовецкие правила, был бы рыбацкий рай в центре Европы. Среди прочих требований каждому немецкому рыбаку предписывается иметь особую палку для убоя рыбы. Вспомнилось, что когда нацисты пришли в Ригу, то прекрати-

лись беспорядочные расстрелы евреев и начались упорядоченные. Тоже мораль... За рыбьей моралью следят бдительные сухенькие фрау преклонных лет. Идешь, а они зырк-зырк – даже и не глазами, а тонкими губами. Чуть что – стучат, приезжают "polizai", т.е. полиция, проверяют лещей, палку, удочки. Фрау всегда на посту. "Поставлены когда-то, а смена не пришла..." Ну и ладно, что не пришла, это внушает оптимизм.

Во вторую мировую в Фегезаке находились заводы подводных лодок и знаменитые верфи. Авиация союзников утюжила этот район, как и весь город, изо всех сил, практически ничто не выжило. Кто бы мог подумать, что пройдет время – и Фегезак станет центром русско-еврейской жизни в Бремене.

Дядя Вова показывает свои материалы о старом джазе, о Фреде Асторе, о Ленинграде. Звуки "Серенады Солнечной Долины" переплетаются с образами города, летят черные туфли Астора, кружатся белые платья, уносят в "Кинематограф" на Васильевском, в совсем другое время, в другую эпоху. Неужели мы в Бремене? Хрипловатый голос дяди Вовы звучит немного монотонно, но глаза горят, а душа поет. Я смотрю и думаю: что такое страсть? Я часто об этом думаю. Я вообще часто думаю. Слишком часто...



Неподалеку живут добрые друзья дяди Вовы. Наверное, было бы правильнее называть их по имени-отчеству, но не хочется. Костя и Шеля – по дружески зовет их дядя Вова, да и мне так проще. Мы зашли по случайному делу и разговорились надолго. Мало кто знает, что в Германии имеется множество еврейских памятных мест. Найти их не слишком легко, но они есть. Еще труднее восстановить их историю. Костя рассказывает о своих поисках и находках с юношеской увлеченностью, и я просто потрясен его энергией.

В Констанце памятная мемориальная доска находится в жилом доме, в Гамбурге – в магазине, где-то – на окраине города, где-то – в центре. Есть памятник 950 венгерским евреям. Есть – бременским. Оказывается, были в Бремене не только музыканты... В Саарбрюкене во время войны в здании парламента земли Саар было гестапо. Недавно там появился необычный памятник. Тайком, по ночам, студенты местного университета вытаскивали булыжники из мостовой, на обратной стороне гравировали название того или иного еврейского кладбища, а потом укладывали их обратно, необработанной стороной вверх. Так и лежат на площади перед бывшим гестапо 2 146 камней, хранящих память.

...Мы говорили много, вернее, я слушал. Но времени, как всегда, не хватило. Надо обязательно приехать и снова поговорить. Вот уже два года прошло. А я все еще еду...

Символами Бремена являются одутловатый рыцарь Роланд и четверка Бременских музыкантов. Роланд стоит на Рыночной площади. У него прямой арийский нос и неприятное выражение лица – точь-в-точь, как у псов-рыцарей из фильма "Александр Невский". В руках у Роланда здоровенный палаш, по преданию этот меч – символ правосудия. Мне все же больше импонирует греческая полуголая Фемиды с весами, чем этот тевтон. Неподалеку – центральный собор св. Петра, тяжело-весный, пришибающий. Но вот сама площадь с ратушей просто замечательная, действительно – одна из лучших в Европе. Ратуша знаменита своим винным погребом. Самое старое вино в нем начала XVII века. Говорят, оно помогает от разных проблем, но глоток стоит так дорого, что проверить это невозможно. Им лечился Гете, и, судя по его любовной лирике, успешно.



Около Ратуши стоит памятник Бременским музыкантам. Почему эта сказка братьев Гримм обрела такую звездную судьбу – полнейшая загадка. Может быть, повезло? "Марья Ивановна, как вы стали валютной проституткой?" – "Ну что вам сказать, товарищи – просто повезло!.." Везение – великая вещь, после везения начинается уже самостоятельная жизнь сказки. Передние ноги бронзового бременского осла отполированы не хуже, чем грудь Джульетты в Вероне. И в том, и в другом случае прикосновение должно приносить удачу и любовь. Кто же этого не хочет? Ну, у осла есть разные места для прикосновения, как метко заметил еще Апулей. Я прекрасно помню памятник Бременским музыкантам в Риге. Рига и Бремен при советской власти побратались, и на Домской площади появились Бременские музыканты. Что-то в этом было тогда очень хорошее, так как памятники не Красным латышским стрелкам, не знатным комсомольцам, не вождям всех времен и народов были еще в новинку. Все меняется, и Красных латышских стрелков уже задолбали за их красноту. Если бы они не были латышскими, то их просто бы снесли к чертям собачьим, а так пришлось помучиться, попеределявать снова историю, музей Красных латышских стрелков переименовать

в музей оккупации. Где-то этих людей понять можно. Замечательный математик, полковник Николай Федорович Трубицын когда-то мне говорил: "Видите ли, Женя, чтобы выпрямить – надо перегнуть". Перегибать, однако, все умеют, вот с "выправлять" хуже. Убрали бы сразу и "красных", и "латышских", и оставили бы просто стрелков. Тогда можно было бы сказать что угодно – например, что это памятник Робин Гуду. Вообще, надоели памятники личностям,

хочется памятников хорошим символам. Памятник Чижик-Пыжику, памятник городскому Почтальону, памятник Стойкому Оловянному Солдатику – это оно, это то, что нужно. Бременским музыкантам – нужно, Синей Птице, Коту в Сапогах, Собачке – как в Эдинбурге – всем нужно. Трубадуру же памятник просто необходим:

*Ничего на свете лучше нету,
Чем бродить друзьям по белу свету...*



Но пока почему-то все не так, "все не так, ребята". Как говорится, "«Муму» Тургенев написал, а памятник Пушкину поставили..."

Старый город Бремена произвел впечатление. В средние века любой крепостной, который пробирался в Бремен и проводил в нем хотя бы одну ночь, становился свободным человеком. Всего одна ночь среди моряков, ремесленников и бюргеров давала свободу. А сейчас? Пусть мне кто-нибудь скажет, где и с кем надо провести ночь, чтобы стать свободным! И стоит ли овчинка выделки?..

Может быть, заночевать в районе Шноора – для пробы? Шноор – он и есть шнур, состоящий из нескольких незабываемых улочек. Если бы не толпы народа, то можно смело сказать, что это один из самых душевных городских уголков Германии. Там находится отель из трех комнат, цены в нем под стать вину из подвалов Ратуши. Сюда когда-то пробрались четверо за ночлегом и свободой. Так и появились Бременские Музыканты.

Рядом со Шноором находится улица бременского модерна Voettcherstrasse, которую построил в 1931 году некто Розелиус – изобретатель бескофеинового кофе. Во времена нацизма ее должны были снести как образец "дегенеративного искусства". По счастью, улицу удалось отстоять перед войной, ну а затем время снесло сносильщиков, а улицу пощадило. "Voettcherstrasse" означает "улица-бочка". В Бремене есть своя мера длины, равная расстоянию между коленями железного Роланда, и своя мера веса – "бременская бочка", которая вмещает 920 селедков. Отличная идея – измерять все в селедках. В семидесятых на книжном ленинградском рынке я измерял все не в рублях, а в Пикулях рижского издания. Сколько стоит этот Пастернак? – семнадцать мягких Пикулей плюс книга о вкусной и здоровой пище. Цветаева в Библиотеке поэта стоила уже двадцать мягких Пикулей плюс пяток твердых, а удавов, помнится, было принято измерять в попугаях. Так что бременцы со своими мерными селедками не уникальны. Кстати, до XVIII века селедку вообще за рыбу не считали. Загадка: плавает, но не рыба? – селедка. На улице-бочке всего семь домов, все именные. Например, Дом Робинзона Крузо, Дом Семи Ленивцев, Дом Атлантиды. Звучит как песня, а выглядит еще лучше.

Дядя Вова и тетя Валя уговаривают нас остаться еще на денек. Что там говорить – хочется. Но труба зовет в Голландию.

Голландия, за исключением Амстердама, прекрасна, Амстердам же – на любителя. Во время какого-то фестиваля весь его центр был украшен надписями: "Амстердам – город, где не грустят". Идея, несомненно, хорошая, примерно как идея коммунизма, но вот с реализацией снова проблемы.

Приближение к стране узнается по запаху. От границы ветерок доносит ядреный навозный дух, и это амбре четко выделяет Голландию на карте Европы. Фарли Моуэт пишет, что в природе волки метят территорию своего обитания с помощью натуральных запахов. По простому – писают. Поэтому природные границы пах-



нут, только мы этого не замечаем. А Голландию не заметить трудно, хотя физических границ в Европе уже и не осталось.



Запах навоза, в общем-то, неудивителен для государства, где одних свиней живет 15 миллионов. Это – счастье! Нетрудно догадаться, какая у голландцев национальная кухня. Злые языки говорят, что и характер такой же, но на то они и злые. Кроме миллионов свиней, имеются еще миллионы свиномордых овец, а уж количество черно-белых коров просто невозможно подсчитать.

Так же, как и Данию, Голландию хорошо смотреть из уютного кемпинга в провинции. Две-три поездки по окрестностям возбуждают значительно сильнее, чем местная марихуановая самокрутка или пирожок с мухомором. Действительно – страна цветов, мельниц, сыров, живописцев, мореплавателей, дамб, каналов. Хочется посмотре-

реть все и немедленно. Но лучше всего просто поехать по полям ранним летним утром.

Около шести утра природа просыпается. Наверняка в это же время просыпается природа и в других странах, но в Голландии все удивительно близко от жилья – как в деревне где-нибудь в Вятской области.

Вышел за околицу – а там лес, волки, медведи. Разница в том, что в Голландии эта деревня расположена всего километрах в тридцати от Амстердама, а вместо волков с медведями – коровы, овцы, козлы, кони, пони, свиньи, кролики, зайцы, мыши – некрупное и одомашненное зверье. С раннего утра над польдерами и каналами клубится туман. В тумане, как и положено, копошатся ежики, ухают птицы, стоят коровы-лошади. Стоят они – потому что спят стоя, совсем как студенты у доски.

А овцы спят лежа, просыпаясь с первыми лучами солнца. Просыпаются – и сразу жрать. По всей голландской провинции бродят огромные стада свинорылых овец. Они сбиваются в тройки – не хуже обкомовских работников – и жрут, жрут, жрут. Прижмутся потеснее курдюками, образуя трехголовый и треххвостый механизм, и методично движутся вдоль дамб, оставляя за собой полосу постриженной травы. Смотреть на это можно бесконечно, как на огонь или воду, движение завораживает и гипнотизирует. Три – хорошее число. Почему они не сбиваются в пятерки или четверки? Видимо, тройка лучше. Издали – хрюши хрюшами, но, подойдя поближе, обнаруживаешь что-то кудреватое и шерстистое. Это просто голубая мечта ортодоксальных евреев: вид, вкус, тонус – все, как у свиней, а копыта – прямо как ребе пропи-сал! На овец садятся белые цапли, захребетничают, вытягивают шеи, важничают, с комфортом осматривают окрестности. Зайцы выбирают поля с высокой травой, и их длинные уши повсюду торчат над ней.



Утром птицы шлендрают по каналам в поисках пищи. Даже лебеди забывают свой лебединый статус и ходят по берегу, как простые гуси. На людей – практически ноль внимания. Изредка они взлетают с низкого старта, покружат над польдерами и приземляются. Вот это зрелище: сначала раскрываются ангельские крылья, затем лапы начинают работать, как небольшое динамо, короткая пробежка по воде, приводнение – и опять безукоризненно надутый вид первых красавцев заповедника.

Кстати, о заповеднике. Все зависит от времени: где-то до семи-восьми утра голландские просторы – действительно настоящий заповедник, а вот после восьми плавно превращаются в ферму. Это уже не так интересно, зато как раз наступает время смотреть цветы, мельницы и отражения. Открывается совершенно другой мир – сельская идиллия, достойная малых, средних и старших голландцев.

В августе к северу от Алмаара, на бесконечных полях, выращивают гладиолусы. Около семи утра наступает их время. Солнце встает над тополями, и подрагивающие, просвечивающие, покрытые росой цветы поворачиваются ему навстречу. Они высажены ровными рядами, как и положено законопослушным голландским гражданам: один цвет – один ряд, семь цветов – гамма, двенадцать – палитра, и все навстречу солнцу.

Увы, эти гладиолусы идут на развод, а не на продажу. Поэтому приходят рабочие и со знанием дела обрывают каждый второй цветок. Их складывают между грядками выживших гладиолусов, крест-накрест. Земли не видно, ее покрывает сплошной ковер вырванных цветов. Я спросил у рабочего: "Зачем вы это делаете?" Он спокойно ответил: "They are not good" – они нехороши. А-аа – селекция, стремление к совершенству, тогда понятно. Вот и у людей так бывает, тоже потом лежат крест-накрест, что же с цветами церемониться! Цель все оправдывает, а чего не оправдывает – того просто не замечает. Поднять бы все эти гладиолусы с земли и раздать их женщинам, каждой по огромному букету, такому большому, чтобы красота лиц сливалась с красотой цветов и все переплеталось – как у дриад. Но уносить запрещено – эксклюзив.

В нескольких километрах от гладиолусовых делянок мы наткнулись на поле циклопических лилий неземной красоты. Эти аристократы так далеко ушли от своих болотистых предков, что их и лилиями назвать трудно. В необыкновенных цветах столько хищного обаяния, что хочется снимать, снимать, снимать без конца, выискивая все новые сочетания форм и красок, и невозможно остановиться. Процесс прервал хозяин, который поинтересовался, что мы тут делаем. Честность – лучшая политика: "Фотографируем". Мужик не выразил восторга, но и не прогнал, только попросил ничего не брать с собой. Потом начал деловито отрывать некондиционным лилиям божественные головы, бросая их на землю. Это немного напоминало французскую революцию, и мы ретировались.



Кстати, считается, что в Голландии все говорят по-английски. Это не совсем так, в провинции полно людей с зачаточным английским. Они пытаются объяснять что-то по-голландски, но произношение очень необычное, особенные проблемы с буквой "Г". В одной статье замечательно сказано, что это "смесь украинского Г, французского R и матросского храпа". Поэтому не надо шараться от



"ghue morgen" поутру – это всего лишь "доброе утро", хотя и произносится как "хгхуй моррхгхе". Точно так же звучат "добрый день", "добрый вечер", и вообще все доброе и хорошее.

Часов с 10-11 пора начинать осматривать неподражаемые голландские городки. Ближайшим к полю с лилиями был Хорн, с него мы и начали. В Хорне с XVII века находились штаб-квартиры Ост- и Вест-зейских компаний. От этих слов сразу веет табаком, пряностями и ветром странствий. В центре города стоит позеленевший бронзовый памятник носатому адмиралу Куну, основавшему Батавию (Джакарту), его окружают улочки с наклонными средневековыми домами. Угол наклона напоминает о радикулите или о бутылке доброго рома.



Угол наклона напоминает о радикулите или о бутылке доброго рома.



Радикулитная улица ведет в гавань. Все дороги в Хорне ведут не в храм и не в Рим, а в гавань, и есть в этом что-то символичное, поскольку там, среди парусников, можно найти и храм, и Рим, и все остальное. Например, можно найти рыбный магазин, а в нем продаются – недорого – свежие мидии с недалеких плантаций. Купить мидий, от души, килограмма 4, привезти в кемпинг, сделать пряный суп с морскими гадами – и можно сразу почувствовать себя адмиралом Куном, носатым и зеленым. Еще в магазине продают живых и неживых угрей. Я

никогда в жизни не видел столько этих тварей вместе! Угря ловят по голландским каналам ночью. На заходе солнца велосипедисты с удочками и фонариками съезжаются к каналам, клев похож на шквал. Лично я живых угрей боюсь, так как знаю всеми инстинктами, что если что-то холодное и извивается, то это – змея. Угорь же должен быть копченым или жареным, с рисом и соевым соусом.

От Хорна 20 километров до Эдама. Для любого человека "эдам" – это сорт сыра. В Эдаме действительно есть сыр "эдам", и сырный рынок, и сырный музей, и мыши там толстенькие и довольные. Впрочем, люди выглядят не хуже мышей, так как весь город купается в покое и несуетливом благополучии. В Эдаме много тишины. Конечно, тишину не измеришь, не взвесишь, не съешь и не выпьешь, но ее можно впитывать – через шкуру, прямо внутрь. Города обычно мало приспособлены для такого занятия, лучше уж в пустыне или в горах, на худой конец – на берегу озера. Но Эдам – исключение. В городе много каналов в обрамлении плакучих ив и деревянных домов. Вдоль мостовых иногда лениво процокает туристская бричка или прошумит мотороллер. Под ивами сидят рыбаки с удочками. Друг напротив друга сидят, у каждого шкиперская борода, трубка, газета – и полное отсутствие напряжения во всем. Рыбалка для них – это что-то вроде забивания козла, но с самим собой. В самом деле, кто может быть



лучшим партнером? Каналы ведут к церкви, в церкви прохладно, витражи, скамейки. Тоже неплохое место для размышлений, можно совместить приятное с полезным.



Сырный рынок Эдама работает по средам, он совсем камерный по сравнению с пятничным рынком в Алкмааре. Римляне были бы счастливы в Алкмааре, так как там выдают одновременно и хлеб, и зрелища, и сыр в придачу. На рынке великолепная атмосфера бурлящей жизни, гедонизма, удовольствия, где сыр – только повод расцветить серое голландское небо яркими желтыми красками. "Устроим праздники из буден, своих мучителей забудем", хотя бы с 10 до 12, в пятницу, в Алкмааре, на рыночной площади. На сырных весах взвешивают целые семьи в сырном эквиваленте. Дети довольны, все счастливы, никого не заботит, сколько холестерина потребляется за эти два часа, так как гормон радости расщепляет злобный холестерин в пыль, и тот исчезает без следа – как сон в летнюю ночь. А вкус сыра – остается.

От сырной площади к Ратуше ведет нарядная сырная улица с сырными магазинами. Заходим в один из них в поисках сувениров. Все хорошее стоит дорого. Блуждая взглядом по бесконечным полкам, замечаем что-то красивое, золотистое и по разумной цене. Что это такое? "О-оо, – говорит продавщица, – это такой мягкий сыр, очень вкусный, его можно мазать на хлеб. А если его положить в холодильник, он становится твердым". Ясно, я обожаю мягкие сыры: "Взвесьте на всю компанию килограмма четыре! Вечером перед ужином подошла Маринка и ехидно спросила: "Ты любишь голландское масло?" – "Не знаю, давно не пробовал". "Сейчас попробуешь – мы купили 4 килограмма отличного масла, придется съесть!" Тем, кто хочет по-настоящему отдохнуть в Голландии, стоит купить побольше местного масла, хлеба, ветчины – и есть, пока лезет, потому что вкусно, очень вкусно, а дома в здравом уме и трезвом рассудке никто этого делать не будет. Когда же силы кончатся, положите остаток масла в холодильник, в холодильнике оно – твердое...

Посреди сырной улицы стоит загадочный указатель. Турист из России застывает перед ним, как витязь на известной картине Васнецова. На указателе в столбик написано: "Stadhuis", "Politiebureau", "Grote Kerk". То есть, предлагаются три варианта, куда идти: в горсовет, в партком или в церковь. В бывшем Ленинграде есть ресторанчик с названием "Политбюро" и рекламой "Заходи, позаседаем". Но вроде не для того мы в Алкмааре... Все оказалось проще: "Politiebureau" в переводе означает "полицейский участок". Что ни говорите, а есть в лингвистике свой шарм.

От Алкмаара совсем недалеко до Гарлема. Для меня Гарлем – это, прежде всего, музей Хальса. Из всех великих голландцев он дальше всех заглянул в будущее. Живые импрессионистские лица, длинный тягучий мазок, мимолетная игра настроения. Все Хальс знал уже тогда, все чувствовал, все умел: по времени – "золотой голландец", по жизни – алкаш, по мастерству – гений.

В Гарлеме хорошо – просто хорошо, и все. Собор Св. Баво висит над городом, но не давит, а притягивает. Улочки чистые и опрятные. Много кафе, в которых продают сласти, кофе и марихуану. В одном таком кафе я долго сидел в Интернете. Заходил народ, скручивал



самокрутки, читал газеты, пил кофе. Очень захотелось попробовать, с трудом вспомнил, что не курю.

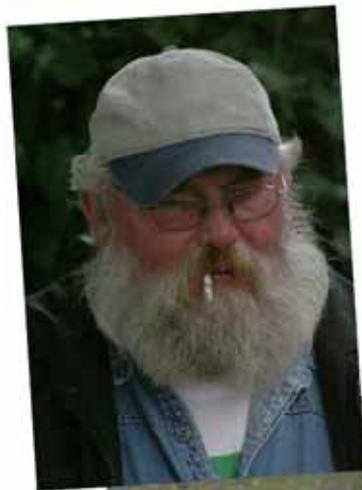
Вернее, один раз в жизни курил. Это когда меня распределили после университета во ВНИИГ имени Веденеева. Тогда студентов еще распределяли на работу: выпускников вводили в отдельную комнату, а там уже их торговали купцы из отделов кадров. По традиции, восходящей к рабовладельческому Риму, ввод студентов шел в соответствии с качеством товара, то есть отличников запускали первыми, потом хорошистов, ну, а потом уже всякую шушеру. Евреи в 70-х шли по особому списку – их брали лишь



в отдельные НИИ города Революции, и все знали, в какие именно питомники они попадут. Во ВНИИГе им. Веденеева меня встретил товарищ Машкин. "Чем занимались?" – деловито спросил он. "Матричными группами", – проблеял я. "Матрицы – ????" – за ушами у Машкина заходили и замкнулись извилины. "Матрицы?! – повторил он уже агрессивнее. – Есть у нас машина Мир-1, будете на ней матрицы считать". Потом добавил: "Дисциплина у нас с Вами, Плоткин, будет военная". Я вышел из ВНИИГа, стряхнул с себя отвратительную машкинскую ауру – и закурил. Больше я его никогда не видел. И никогда не курил.

Машкина бы сюда, в Гарлем. Выкурив две-три марихуановые сигарки, он наверняка мог бы рассказать много интересного. Хотя не стоит пачкать великолепный Гарлем "машкиными", жалко природу.

Над гарлемскими городскими каналами бродит отличный бриз. Он проникает в город, прогуливается по прекрасной ратушной площади, заглядывает в хофье. Хофье – это жилые дворы женских монастырей, порождение чисто бельгийско-голландское и архитектурно очень симпатичное.



Раз в несколько лет в Гарлем заходит рыбацкая флотилия XVIII века. Это сказочное зрелище, редкий гибрид плавучего этнографического музея и цирка шапито. Суда паркуются вдоль канала. На некоторых флаги с черепами и костями, но главное внимание привлекают сами посудины, похожие на плавучие деревянные башмаки. Весь антураж из прошлых времен, за исключением японских моторов, на которых суда дойдут до Амстердама. А в остальном все как надо – веревочные узлы, дрова, печки, шерстяные носки, рыбацкий скарб, деревянно-чугунная утварь и инструмент. На берегу бородатые рыбаки горланят песни. Но особой удали не чувствуется, все слишком театрально и профессионально. Надо бы им налить, всухую в море не ходили ни в какие времена, а уж в тяжко пьющей Голландии – тем более.



Как-то раз на Байкале мы плыли на алгебраическую конференцию в бухту Песчаная. Штормило, было 17-е августа – день, когда утонул Александр Вампилов. Корабль, на котором мы должны были плыть, назывался как раз "Александр Вампилов". При виде 30 алгебраистов команда сказала: "Мы сейчас, мы мигом", – отплыла на другую сторону

Ангары и там мертвецки запила. Видимо, пили все, включая юнг и корабельных котов. Поэтому мы наняли другую, условно плавучую посудину. Ее капитан сказал: "Команде не наливайте, им уже хватит, а мне можно". Выплыли, выпили, стемнело, иностранцев спустили в

трюм, чтобы им не так страшно было. Капитан за 100 грамм коньяка давал вести судно любому желающему. Поднялась качка – Байкал все же, славное море... Из трюма вылез профессор Хазевинкель из голландского Дордрехта. Тяпнул слегка для тонуса, лицо не разглядеть в темноте – но, видимо, розовое, шкиперская бородака топорщится, вид решительный.



"Мишель, ты куда?" – спрашиваю. "Хочу порулить". "А сможешь?" Мишель не ответил, налил 100 грамм капитану, добавил немного себе, взял штурвал и сказал: "Семь поколений моих предков погибли в море. Отец прервал эту традицию..." Внешне гарлемские рыбаки и Мишель, написавший тома формул, неотличимы, особенно если на Мишеля надеть вязанную шапочку и деревянные башмаки. Нет, не врал он относительно предков!

Тем временем на пирсе раскопегарили печку, достали сковородку, стали жарить в кипящем масле что-то вроде корюшки. Безумно вкусно запахло жареным. Э-эх, угостили бы, что ли!.. Не угостят? Или угостят?! Если театр – не угостят, а если всерьез рыбачат – то и нальют, и догонят, и еще нальют.

Так мы и не узнали, где кончаются в этом шоу рыбаки, а где начинаются артисты. Но и неважно, ведь мы-то в любом случае зрители, а значит:

*Ты умеешь поверить в обман,
Ты умеешь поверить в обман!*

На следующий день после Гарлема мы поехали в Дельфт. Если Гарлем – это Хальс, то Дельфт – это Вермеер. Вермеер – загадочный художник, виртуоз жанровой сцены. Секрет того, каким образом он превращает повседневность в трансцендентные образы, сродни секрету скрипок Страдивари. Вроде бы все частности понятны, а что толку... Я надеялся, что в Дельфте, среди пейзажей старого города, что-нибудь да всплывет, я даже смотрел на окна, на занавески, на фарфор, на местных женщин – все тщетно.

*Я не то, чтобы от скуки,
Я надеялся понять,
Как умеют эти руки
Эти звуки извлекать...*

Огромное пространство центральной площади уносит вверх, к свободе. Вот оно – то место, то самое место, с небом и собором, где можно искать ответ. Тем более, что в соборе и покоится прах Вермеера. Не тут-то было – узкие улочки окружающих домов, ограниченные тюремной полоской неба, подчеркивают двойственность Дельфта. Видимо, истина лежит где-то посередине между городом и человеком.

В музеях России не было Вермеера, как не было Боттичелли, Гойи, Босха. А там, где были они – не было нас. Теперь уже все воссоединилось, я смотрю на картины Вермеера в городе Вермеера, но, может, поздно. Слишком много знаешь для понимания. Слишком много ассоциаций, чтобы сосредоточиться. Дельфтские восточные ворота – ну, конечно, я их уже видел когда-то, в старой Риге, как раз с той стороны, с которой к городу приближались шведы. Не-ет, те, в Риге, были другими, они не видели Вермеера, а вот эти – видели и наверняка много знают. Но я не знаю их языка,



мало времени, чтобы выучить язык дельфтских улиц. Может быть, разгадка Вермеера кроется в том письме, что читает у открытого окна девушка с по-голландски зачесанными наверх волосами? Это – "Девушка, читающая письмо". Мне всегда казалось, что девушка была в чепце и сняла его только когда начала позировать. Вермеер написал ее с непокрытой головой, но помнил-то он ее еще в головном уборе, и потому чепец незримо присутствует на картине. Так, джунгли часто изображают просто лесом, а на самом деле там водятся обезьяны, только они временно ушли.

Из Дельфта логично съездить в Киндердийк. По всей Голландии масса мельниц, но лишь в Киндердийке они кучкуются с подлинным размахом. Многие считают, что эти мельницы что-то перемалывали. Ничего подобного, если они что и мололи, то лишь в ступе воду. На самом деле голландские мельницы в своей массе предназначены для регулирования уровня воды в ирригационных системах. В таком качестве они до сих пор и работают. Дон-Кихотов в Голландии не было, более того, не было и настоящих мельников, не было "дочерей мельников", а была замечательно прагматичная проза жизни народа у моря. Киндердийкские мельницы великолепно смотрятся вечером, когда в некоторых из них загорается одинокий огонек, а камышовые цапли похожи на летучих мышей. Правда, комары... Наверное, они хороши и зимним ранним утром, когда нет ни комаров, ни велосипедистов, а есть легкий снежок на крыльях мельниц и тонкий лед на каналах.



Кстати, на велосипедах в Голландии ездят все. На народном голландском велосипед звучит как "круглые ноги". Это зря, в Голландии ноги очень даже ничего. По статистике в Голландии на один велосипед приходится полтора человека. Значит, на одного голландца приходится две трети велосипеда. Это непорядок – без трети велосипеда ездить на нем



плохо. Но ездят, ездят все. В Киндердийке едет по велосипедной дорожке бабушка лет восьмидесяти. Светящиеся на заходе солнца седые волосы, спокойная улыбка, доброжелательность. "Ghue afen" – добрый вечер. "Ghue afen. Здесь есть мельницы? Молен? Миллс?" "Йа, моллен! Йа!" Она показывает рукой в направлении польдеров и явно собирается ехать на велосипеде впереди нас. Наверное, так же она ездит в магазин, церковь и на танцы. Теперь я понимаю, почему голландцы изобрели и спокойно едят калорийные желтые сыры – слабо сыру против велосипеда.

После Дельфта и Киндердийка в Гааге тяжело. Чересчур много больших домов, слишком высокие крыши. Туда надо приезжать как в Вену – ради музеев, ради театра и, наконец, ради скромного обаяния благородного европейского города. Один день в Гааге – скучно, три дня – много, ну, а два дня – в самый раз для поверхностного знакомства, музея Эшера и обязательного Маурицхейса.

Часто туристы посещают Бельгию и Голландию одновременно. Я бы не стал этого делать. Они очень разные, и, на мой взгляд, Голландия значительно интереснее. Может быть, это связано с энергией моря или с оранжевыми свободолюбивыми традициями. А может быть, это просто дело вкуса. Кому-то больше нравятся Антверпен-Гент-Брюгге – три крупные бельгийские жемчужины, а кому-то – россыпь голландских городков черного жемчуга. Нет, я бы не стал

смотреть Бельгию и Голландию одновременно. Но у нас не было времени, а потому и выхода.

Самый красивый бельгийский город – Гент. Днем это спорное утверждение. Но ночью ему наверняка нет равных, ночь в Генте не хуже тихой украинской. Часам к семи ветерок стихает, вскоре опускаются какие-то беспомощные сумерки, затем наступает темнота, включается подсветка, и город теряет материальность, превращаясь в сказочное зеркальное царство. По каналам колеблются желто-коричнево-серые отражения. Дома, бастионы, причалы, мосты начинают жить ночной – двойной – жизнью. Темная канальная вода не имеет питерского ледяного оттенка, она спокойного, мягкого нрава. Чайльд Гарольду или Раскольникову здесь не место, скорее суконщику, зеленщику или рыбаку. На набережной можно подойти к самой воде и зачерпнуть ладонью ее таинственную гладь. Кто не разжимал наполненных водой ладоней ярким солнечным днем, когда вода схватывает свет и летит вниз, играя опаловыми искрами? Кто не пытался схватить через воду красноватые лучи заходящего солнца в тот момент, когда оно уже не в силах оторваться от горизонта? Но никто не проливал ночной воды, так как нет в ней ничего, кроме ночи. В Генте все не так. Выплыть бы на лодке на середину канала, взять ведро и осторожно опустить его в воду, поймав зеркальные двойники средневековых домов, желтых фонарей, и, если повезет, пролетающей бесшумно чайки. А потом вернуть воду в канал, представляя, как поток разбивается на сотни темных капель, а в каждой из них – маленькие средневековые домики, крохотные фонарики, и, если повезет, пролетающая бесшумно чайка...



Волшебная красота Гента живет лишь до часу ночи. Вместе с ней живет и город – пьет кофе, бренчит гитарами, стучит трамваями, светится башнями соборов. В час ночи подсветка гаснет – и все, общий привет до утра. Утром мы сели на кораблик и поплыли по каналам. Поднялся ветерок, вышло солнце, ярко играли цветы на балконах домов – но ночное очарование бесследно исчезло вслед за ночными отражениями. Красиво было – очень, но прямой красотой реалистов, а не загадочной красотой Климта.

Зато днем в Генте можно и нужно посетить Гентский Алтарь в соборе св. Бавона. Седьмой век во Фландрии оказался необыкновенно урожайным на святых. Одним из них и был святой Бавон – покровитель Гента и соколиных охотников. Какое-то время он прожил в дупле дерева, а потом основал монастырь, значительно улучшив жилищные условия. Так и возник город Гент. Сам собор необыкновенно величественный – этот замысловатый эпитет очень точно подходит к его облику.

Значительно сложнее обстоит дело с Гентским Алтарем братьев ван Эйк. Я всегда считал их менее сильными художниками, чем близкие по времени

Мемлинг, Рогир ван дер Вейден, Дюрер. Но как быть тогда с необсуждаемой славой Гентского Алтаря?

Входим в собор, высокий неф сразу отсекает его торжественный мир от будничного пространства улицы. К алтарю, расположенному в отдельной комнате слева от входа, не пробиться. Идет проповедь на итальянском, приводящая в восторг столпившихся паломников. Аплодисменты, притоптывания, постукивания, радостное возбуждение – похоже, этим католическим тиффози сообщают какую-то благовесть. Что они с ней будут делать – неизвестно, но отметить или, по крайней мере, обмыть ее явно не помешает.

Наконец подходим к алтарю. Сразу становится ясно, что его сила направлена на голову, а не на сердце, что никакого мгновенного обращения не будет, а будет созерцание, изучение и – в лучшем случае – радость познания. Сюжет, в общем, не новый – "Поклонение агнцу", и барашек внизу выглядит очень даже натуралистично. Все остальное гораздо менее понятно. Крылья у ангелов отсутствуют, а ангел без крыльев должен быть или падшим, или не совсем ангелом – по этим же ничего такого не заметно. Посередине полиптиха сидит бородатый ближневосточный Бог-Отец, больше всего напоминающий царя Мелхиседека. Чтобы никто не расслаблялся, электронный гид сообщает, что, возможно, это не Бог-Отец, а его сын Христос. Что ж, родственники бывают похожими. Тогда стоящий справа Иоанн Креститель – его двоюродный брат по материнской линии, а сама мама, Мириам-Мария, стоит слева. Логично, но неясно, почему у братьев ярко выраженные семитские черты, в то время как мама главного из них – истинная фламандка. По краям находятся доски с голым натуралистичным Адамом – он отлично узнаваем – и с не менее голой Евой, причем, судя по животу, яблоко она к этому времени уже откусила. Электронный гид продолжает нашептывать: тут – Каин с Авелем, там – судьи, донаторы, миряне, монахи, праведники, апостолы...



Но я его уже не слушаю. Потому что в это время раздаются звуки органа, и сам сюжет мгновенно теряет значимость. Остается лишь его восприятие, адекватное торжественности музыки.



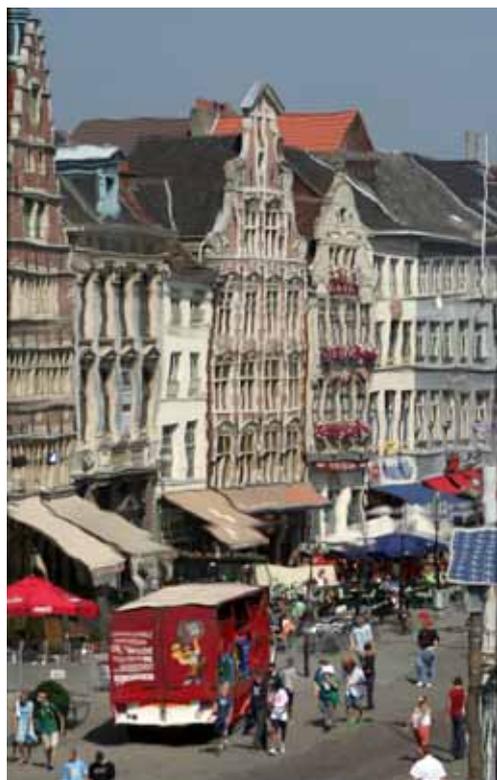
Безусловно, "Поклонение агнцев" – замечательный алтарь, но все же красота его преувеличена. Может быть, он так прославился, потому что был самым большим алтарным полиптихом в Европе, а может быть, известность пришла, благодаря умелой рекламе, сопутствующей торговому благополучию Гента. В любом случае, жизнь у "Поклонения агнцев" оказалась сродни авантюрной жизни самых известных алмазов или исторических реликвий. В XVI веке победившие целомудренные протестанты перенесли алтарь в Ратушу, а потом решили подарить английской королеве. Наследник заказчика алтаря был против, и алтарь остался в Генте. Странно, не так ли – власть "за", а некий гражданин "против". Кто должен победить? В XVIII веке австрийский император Иосиф II выразил недовольство тем, что Адам с Евой голые. Императору покивали, но драпировку делать не стали, а просто перенесли две створки в церковную библиотеку. Действительно, библиотека – не то место, куда заходят императоры. В конце XVIII века Наполеон вывез четыре оставшиеся створки в Лувр. По непонятной причине он забывает захватить все еще голых Адама с Евой из библиотеки, и поэтому просит город

забывает захватить все еще голых Адама с Евой из библиотеки, и поэтому просит город

Гент обменять ему оставшиеся две створки на картины Рубенса. Вот это уже совсем за пределами понимания – Наполеон просит поменяться, как коллекционер на черном рынке, а вольный город Гент ему вежливо отказывает! И Бонапарт, имея в своем распоряжении полмира и огромную армию, огорчается и уходит, оставив любимый им Лувр без Ван Эйковских Адама с Евой. А в 1815 году Людовик XIII вернул Генту и первые четыре створки. Очень скоро некий викарий собора стащил несколько створок, продал их брюссельскому торговцу, а тот перепродал прусскому королю для Кайзер-музеума. Правительство Бельгии довершает дело грабежа, купив все тех же Адама и Еву для музея Брюсселя. В первую мировую войну не чуждые прекрасному немцы пытались забрать и весь алтарь в Кайзер-музеум. Но его спрятали, а после поражения Германии в условии Версальского мирного договора включили возвращение створок в Гент. И их вернули! В 1934 году житель Гента Арсен Гудертир украл створку с "Праведными судьями".



На исповеди он признался в этом, сказал, что она спрятана в столе... а дальше скончался на самом интересном месте, как какой-нибудь туземный вождь в голливудских фильмах про Индиану Джонс. В отличие от фильмов, хэппи энда не получилось – створку так и не нашли. Тем временем, немцев не оставляла навязчивая идея получить алтарь. И в 1940-м бельгийские фашисты решили подарить его Гитлеру. Дальше начинается полный сюрреализм. Алтарь отправляют в замок По, во Францию. Заключается соглашение, что алтарь можно изъять лишь с согласия трех сторон – германского уполномоченного, представителя правительства Франции и не забытого бургомистра никому не нужного в это время Гента. Такая имитация законности сделает честь любому фарисею. В 1942--м с законом покончено, и алтарь отправляется в Париж, а оттуда в Германию, для музея Гитлера.



Кстати, Гитлер был совсем неплохим художником, склонным к реалистическому пейзажу и вегетарианству, что, как оказалось, совсем не противоречит каннибализму. В 1945 году алтарь оказался среди награбленных сокровищ, приготовленных к захоронению или уничтожению в австрийских шахтах. Но почему-то Кальтенбруннер приказал остановить взрывы. 8 мая 1945 года американцы захватили шахты, и через пару месяцев все ван Эйки снова собрались в Генте.

Помимо ван Эйков, в соборе есть и Босх, и Рубенс, и еще несколько отличных картин. Одна из картин Босха, "Несение Креста", находится в крипте, представляющей собой остатки старой романской церкви. Оказывается, в XVI веке пирсинг был уже в ходу: у кого-то из персонажей металл в подбородке, у кого-то в ухе. Выглядит это у Босха, известного своими апокалиптическими видениями, крайне естественно. А на какой-нибудь хорошенькой мордашке на улице это выглядит так же, как у Босха...

Я бы еще побродил по Генту. Здесь когда-то родился Метерлинк. В сущности, за "синей птицей" мы и едем всю жизнь, не задумываясь, какой именно образ она принимает. Конечно, мысль эта не слишком свежа, как и сама идея пьесы Метерлинка, все дело в ее во-

площени. Да и оттенков синего – не счесть: от библейского небесно-голубого до макаревичевского ультрамарина.

На выезде из Гента вдруг полыхнуло красное поле. Остолбев, я затормозил машину по классическому израильскому правилу – там, где удобнее. Второе израильское правило требует, чтобы все, кроме слабоумных и полицейских, могли тебя объехать. Поле красных и желтых бегоний горело на солнце насыщеннейшими красками. Где-то я уже видел такой цвет, но где? Образ вертелся в голове, как лошадиная фамилия, вертелся и почти физиологически требовал, чтобы его немедленно вспомнили. Но



никак не получалось. Было такое чувство, будто назойливый пчёл летает внутри головы и жужжит, жужжит, пока не цапнет. Я мотнул головой – не помогло. Мотнул бы и хвостом – да нет хвоста. И вдруг, в движении, я понял, что цвет бегоний – чисто малявинский, что задорные малявинские бабы одеты в сарафаны бегониевых расцветок, а их ядреным ягодицам к лицу пышные юбки с бегониями. Пчёл в голове успокоился, успокоился и я, стряхнув секундную экзальтацию, как пепел с уже отслужившей сигареты. Известно, что Гент – столица бегоний и азалий, оттуда они едут на центральную ратушную площадь в Брюсселе, где раз в два года выкладывается цветочный ковер.

Так же, как и Данию с Голландией, Бельгию нужно смотреть из уютного кемпинга в провинции. Таким классическим местом являются морские окрестности Брюгге, где-нибудь в районе Де-Хан. К морю можно пробиться через дюны и с удовольствием искупаться, совсем как на Рижском взморье или в Паланге. Ну, а потом съездить на день в Брюгге.

Дифирамбы Брюгге являются общим местом бельгийских туристских впечатлений. В принципе, называть хорошее хорошим значительно проще, чем называть гадкое прекрасным, и в этом смысле говорить о Брюгге просто – он действительно красив. Все в нем есть: каналы и узкие улочки, соборы и склады, кружева и шоколад, дневной блеск и ночной шарм. Есть даже музей Мемлинга, но вот он как раз очень слабый и совершенно не греет. По традиции народ толпится около музея, но можно ли извлечь из осмотра толику чувств, соответствующих масштабу Мемлинга – не знаю. Может, кто-то и может, я – нет. Уж лучше внимательно рассмотреть альбом с мемлинговским триптихом "Страшного суда".

По Брюгге очень приятно прокатиться на катерке. Самое красивое при этом – кораблик, скользящий по каналу, а перед ним плывущая пара лебедей с samozабвенно поднятыми шеями. Вообще-то для лебедей такая экспрессия не характерна, их стихия – плавность, граничащая с флегмой, но, видимо, кораблик их возбудил или испугал.



Можно также послоняться час-другой, заглядывая в витрины небольших, но очень симпатичных магазинчиков. Стою, смотрю на витрину магазина вышивки. Много лет назад на уроке труда нас заставляли делать мережку, бр-р-р – до сих пор помню эту каторгу. Вот бы учительницу труда заслат в Брюгге, на исправительно-трудовые работы!.. Мои сладкие грезы прерывает русская речь. Молодой парень с преувеличенно вежливым выражением лица спрашивает: "Простите, вы откуда?" Как всегда, долго объяснять теперешнее место-

положение светил, и я говорю по привычке: "Из Питера. А вы?" – "Из Гомеля". "Вы турист?" "Нет, я беженец из Белоруссии, от батьки". "И как вам здесь, что делаете?" – "Привыкаю, учу язык. Здесь вообще много наших – в основном армяне, чеченцы, все рады друг другу". "Конфликтов не бывает?" – "Какие конфликты, будем конфликтовать – из страны выкинут". Довод мне понятен, и пастельные воспоминания о достоинствах СССР, когда все жили по заветам кота Леопольда, забрезжили где-то на горизонте. "А паспорт у вас какой?" – "Паспорт людей, получивших политическое убежище по Женевской конвенции – бельгийский, перечеркнутый двумя полосами". "А что он дает?" "Все дает, можно въезжать всюду, кроме страны бегства". "Значит, армянам нельзя в Армению, чеченцам в Чечню, а вам – в Белоруссию?!" – "Выходит что так". "Ну, удачи вам во всем, непростая у вас жизнь", – говорю я парню. Он отвечает: "Да нет, вроде ничего". В самом деле, может и ничего вроде, но вот армянина без права въезда в Армению я все равно не представляю...

Буквально на следующую ночь мы заблудились по дороге в Де-Хан. На проселке остановилась машина и оттуда по-русски, но с акцентом спросили: "Ребята, вам помочь?" "Да, конечно, а вы откуда?" "Из Остенде". "Ну, это понятно, а до этого?" "До этого – из Еревана". Прав был белорусский беженец. "Ну, и как вам здесь?" – "Нормально". "А домой не тянет?" "Домой всегда тянет... Заезжайте в Остенде, посидим, выпьем". "Спасибо, сейчас не успеем, удачи вам!" Жаль все-таки, что не заехали.

Брюссель в прошлые разы казался мне большим и неинтересным. А в этот раз так не показалось, Брюссель – очень даже ничего город. Есть в нем, правда, нечто общее с Москвой – тот же налет столичной спеси, те же призраки больших денег, тот же апломб собственной значимости. Но многим это нравится, а многих не очень раздражает.

На Ратушной площади гремел рок-фестиваль, народ ел сладкие брюссельские вафли,



пил кока-колу и кофе, шумел, радовался от души. "Pourquoi pas" – "почему бы нет", как говорят проживающие в Брюсселе валлоны. Только площадь страдает, лучше бы на ней цветы выкладывали – все-таки камни не люди, могут и не выдержать.

Вся Ратушная площадь – это фантастической красоты и мощи памятник средневековым гильдиям. Немного странно, что дома неоготические, века где-то XVII-XVIII, когда расцвет гильдий уже пошел вниз – но наверняка этому есть какое-то объяснение. Мир гильдий был совершенно особенным. В средние века мастерство было делом наследственным, и гильдии сохраняли семейные или клановые традиции, уходящие далеко вглубь времен.

В Риге было три гильдии: Большая, Малая и Св.Маврикия. Дом гильдии Св. Маврикия разбомбили во время войны, а после войны снесли то, что уцелело. Наш клуб собирался в доме Малой Гильдии, среди витражей, винтовых лестниц и готических сводов. Прошло 35 лет, и в один из приездов из Тель-Авива в Ригу мы с друзьями попробовали зайти в это здание. Оно было заперто, но привратница открыла тяжелую дверь. Я не знал, что сказать, и сделал самое приветливое лицо из всех, имеющихся в запасе. "Мы приехали из Тель-Авива, хотели бы посмотре-



реть несколько комнат на первом этаже, можно?" – "Но сейчас все закрыто". "Я понимаю, но мы когда-то сюда часто ходили... детьми". Привратница вышла из-за своей конторки, и я понял, что дело выиграно. "Можно я открою эту дверь направо, там должна быть большая комната?" – "Да, сейчас, я дам вам ключ". Немного волнуясь, я сказал: "Там в углу, слева, стоит большой черный рояль". И зажег свет. Рояль стоял на своем месте, все было буднично и спокойно. Но привратница что-то почувствовала и поняла. Она сказала: "Поднимитесь, посмотрите что хотите". И мы поднялись в Малую Гильдию.

История трех рижских гильдий – настоящий детектив. Что же тогда может рассказать каменная вязь брюссельской Гран Пляс, где одна символика фасадов напоминает выставку достижений народного бельгийского хозяйства семнадцатого века! Пивовары, мясники, пекари, лучники, галантерейщики, краснодеревщики, дубильщики, плотники, художники, весовщики и еще два десятка ремесел – все в деле. Нет только гильдии ученых – я думаю, по причине хронического безденежья и исторической ненужности их ремесла. У мясников на крыше стоят статуи Изобилия, Сельского хозяйства и Мясной торговли.



Не зря в этом доме останавливались Маркс и Энгельс. А аллегории Правды, Лжи, Войны и Мира украшают гильдию лучников. Вот это мило...

Из Бельгии грех не поехать в Северную Францию. Но и поехать – тоже дело сомнительное, особенно после переизбытка впечатлений последних недель. Поэтому мы решили собрать только сливки – посмотреть Руанский собор и что-нибудь по пути.

На пути в Руан много интересного. Мы заехали в небольшой городок Фекамп. Он расположен на берегу моря, там, где ненадолго расступается цепь прибрежных меловых утесов. Над городом господствует капелла Девы Марии. От нее на запад открывается вид на море. Колючий нормандский ветер поднимает волны стального цвета, гуляет по травам, сушит лицо. На юг до горизонта убегает линия скал. Внизу лежит Фекамп, вытянувшийся буквой "Г" вдоль устья реки и морского променада. Волны бьют о маяк на входе в большую рыбацкую гавань. Солнце заходит, город зажигает тусклые огоньки домов, огни набережных и зеленую подсветку церквей. Это – Нормандия во всем блеске своей мрачноватой красоты и суровой истории.

Впрочем, не стоит преувеличивать воздействие ветра и пейзажа на ход мыслей и настроение. Внизу, в гавани, десятки магазинов торгуют морской нечистью – или, как говорят итальянцы, "фруктами моря". Главный нормандский "морской фрукт" – устрица, огромный выбор их сортов и видов вызывает чувство растерянности. Устриц следует вскрывать специальным ножом, поливать лимонным соком и есть попискивающими, жмурясь от удовольствия. Первый раз в жизни даже простые и естественные вещи кажутся сложными – возьмем, к примеру, секс или вскрытие устриц... Но со временем привыкаешь, втягиваешься и жить без этого не можешь.

Фекампские устрицы отлично сочетаются с ликером бенедиктином. Его изобрели местные монахи, и нигде я не видел такого количества аппаратов для перегонки спирта, как у святых отцов-бенедиктинцев. Говорят, они держат свой секрет в тайне и никто толком не знает, что за 26 компонентов входит в этот ликер. Подозреваю, не знают этого и сами монахи, а работают они, пользуясь вековым опытом – то есть, по наитию.



После устриц и ликера нелишне вспомнить, что в Фекампе жил и, возможно, родился Мопассан, здесь он топорщил свои знаменитые усы, здесь он нашел сюжеты и дал жизнь многим своим рассказам. Мопассан называл Фекамп тусклым, но, будучи нормандцем по рождению, он наверняка любил его. А любовь и Мопассан связаны многими узлами...

Здесь, в Фекампе, находится великолепнейшее аббатство Святой Троицы, в котором одного полумрака хватит на сотню воспоминаний, а витражи аккумулируют скупое нормандское солнце. Клод Моне заезжал в это аббатство по пути к своим любимым скалам Этрета. Мы купили три килограмма устриц, вина, лимонов, хлеба и поехали по его следам.

Моне всю жизнь был одержим цветом, но, в отличие от других – например, от Врубеля – это была мирная, позитивная, рабочая одержимость, удивительный пример страсти без привкуса безумия. В результате появились серии туманных образов Лондона, Руанского собора, тополей в Эпте, скал Этрета и, конечно, бесконечных лилий, нимфей, кувшинок. Мы оставили машину недалеко от скал и пошли к утесам, стараясь поймать то, что поймал Моне. Ничего! Серый день, холодно, ветрено, скалы внушительные и красивые, но где Моне нашел вдохновение – непонятно. Наверное, надо ждать – а некогда, надо смотреть другими глазами – а нет нужного взгляда. Это ничего, это нормально, музы не терпят суеты. А могли бы и потерпеть, в самом деле! Над скалами Этрета находятся плоские, как стол, поля. Здесь, на обочине, на земле, мы и съели наш французский паек. Моне бы одобрил, все-таки было в этом что-то от "Завтрака на траве".



От Этрета рукой подать до Руана, а, значит, и до Руанского собора. Моне жил недалеко от Руана, в Гаверни. Я уверен, что однажды, проезжая Руан по дороге к морю, он вдруг ощутил знакомое чувство возбуждения – будто внутри натянули тетиву, а стрелу выпустить забыли. Наверняка оно было очень быстрым, сильным и искушающим. Искушать человека – любимая игра природы, но искушать Мастера сладко и опасно вдвойне. Не знаю, записал ли Моне это чувство словами, но то, что он его запечатлел на холсте – очевидно. По сути дела, вся его серия из сотни видов собора – не что иное, как постепенное отпусканье внутренней струны. Когда же наступил покой, тогда и блики на камнях угомонились, стали повторяться погода, освещение, времена года. В нашем материалистическом мире причинно-следственные связи иногда выбирают замысловатые пути.

Да, повезло Руану. Ведь совсем недалеко находится Амьен с его волшебным готическим собором, настоящим архитектурным чудом. Если бы ездил Моне к морю в Пикардию, через Амьен – были бы у нас сейчас сотни видов амьенского собора.



Умение быть в нужное время в нужном месте – великое искусство. Руанский собор восемь веков стоял на одном месте, а оказалось, что не стоял – ждал, пока придет Моне, снимет квартирку напротив и вцепится в него мертвой хваткой.

Симбиоз собора и художника продолжался две весны, и лишь после этого они отпустили друг друга.

*О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.*

Руанский собор и в самом деле великолепен. Никто не может устоять перед красотой затейливых форм пламенеющей готики. Каждый, умеющий задирать голову, запоминает эти стремительно уходящие вверх арки, этот каменный водопад из ажурных башенок и перекрытий, среди которых угнездились грифоны, химеры, святые, епископы, голуби, вороны, витражи – все, кто смог подняться вверх и не упасть вниз. Освободи Руанский собор от городских тисков, как Собор Парижской Богоматери или Тадж Махал – и он приподнимется над землей в ожидании полета.

Но если около скал Этрета еще были иллюзии, что удастся сопоставить реальность и живопись Моне, то в Руане они окончательно рассеялись. Надо раз и навсегда разделить в сознании живой Руанский собор и то, что рисовал Моне – тогда станет проще и намного лучше. Есть различные теории, как именно Моне рисовал то, что рисовал – препарирование акта творения было излюбленным занятием испокон веков. Может быть, он видел по-другому, может быть – чувствовал иначе, а может, умел передать на холсте то, чего не было. Прагматики скажут – у Моне болели глаза, романтики сошлутся на астрал, поэты – на муз, а турист в Руане... подождет вечера. Тогда зажгутся прожекторы и компьютерное шоу постарается восстановить для зрителя то, чего никогда не существовало в природе – Руанский собор Моне.



Есть в соборе шедевр, который не имеет никакого отношения к готике или импрессионизму. В центральном нефе, по правую руку от входа, примерно в середине собора находится мраморная скульптура Богоматери с младенцем. У женщины на лице такая улыбка... и лицо под капюшоном... Уйти совершенно невозможно, хочется стоять и стоять – а вдруг оживет. Как у Калиостро.

После Руана замаячила дорога домой, начиналось время расставаний и возвращения к повседневности. Мы еще заехали к друзьям в Дюссельдорф и, обласканные вниманием и теплом, поехали к Росток. Оттуда паром, закаты, короткая стоянка на рейде Таллина – и вот уже Питерский порт встречает таможенным бардаком и очередями на границе. Последний раз такое было три недели назад, на границе с финнами. Значит, и в самом деле, вернулись домой.







